



на
семи
ветрах

АЛЕКСАНДР ГАЛИ
СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ

НА СЕМИ ВЕТРАХ

Киноповесть

Издательство «Искусство»
Москва 1962

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, шестнадцатого ноября, на энском направлении под натиском превосходящих сил противника и в целях выравнивания линии фронта наши войска оставили города...

И почти сразу же следом за этими словами, неожиданно и как-то на удивление не к месту, музыка начинает играть громкий и торжественный марш.

...Под звуки этого марша еще совсем недавно, в дни первомайских праздников и октябряских годовщин, мы шагали по центральным улицам города, и поднимали над головами плакаты и лозунги, и несли на плечах малышей, и пели задорно и самоуверенно:

— Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не сидели —
Того дожидалися...

...Тихо. Темно.

Хриповатый голос в темноте задумчиво произносит:

— «А мы тоже не сидели — того дожидалися...» Да-а-а, дожидалися и дождались!

Чиркает спичка, загорается зыбкий, дрожащий на ветру огонек, плывет снизу вверх, гаснет, и в настороженной тишине внезапно раздается звонкий, неправдоподобно веселый девичий смех.

И снова чиркает спичка.

Резкий окрик:

— Стой! Кто здесь!

Слабый синеватый свет фонарика комендантского патруля освещает тоненькую фигурку девушки в ватнике и шапке-ушанке, с коробкой спичек в руке.

— Комендантский патруль, предъявите документы!

Девушка как-то неопределенно пожимает плечами.

— Документы? Пожалуйста!

Она лезет за пазуху ватника, достает замызганную, давно потерявшую всякий цвет бумажку, протягивает патрульному.

Первый патрульный сержант, прикрывая фонарик полой шинели, негромко читает вслух:

— «Справка. Дано гражданке Ивашовой Светлане Андреевне, что она с третьего августа сего года находилась на излечении в Новосибирской областной больнице по поводу сыпного тифа и выписана четырнадцатого

сентября по ее личной просьбе в удовлетворительном состоянии»!..

Сержант в недоумении смотрит на девушку, морщит курносый нос.

— Ты что же это мне за липу даешь?! Документы.

— Других нет.

Патрульные значительно переглядываются.

— Ты почему смеялась? — помолчав, грозно спрашивает сержант.

Светлана молчит.

— Почему смеялась, спрашиваю? — повышает голос сержант и, не дождавшись ответа, горько усмехается. — Не желаешь говорить?! Ну, ничего, в комендатуре скажешь! Пошли!

Второй патрульный, поправив на груди автомат, легонько ладонью подталкивает Светлану в спину.

— Давай, гражданочка, следуй!..

Шагают по центральным улицам города две пары керзовых сапог и драные мальчишечьи ботинки с облупленными носками и отстающими подошвами, завязанные вместо шнурков грязными бинтами.

Сержант, косясь на Светлану, говорит презрительно и угрюмо:

— Смеется! Тут народ страдает, эвакуация, женщины с детьми плачут, а она смеется, нахальство какое!..

— И спички жгет! — робко напоминает второй патрульный.

— Точно!

Сержант в порыве негодования даже останавливается.

— Ты зачем спички жгла?

— Название улицы хотела прочесть! — очень спокойно отвечает Светлана.

Патрульные снова переглядываются.

— Сама, говоришь, откуда? — быстро спрашивает сержант.

— Из Владивостока.

— Прямо?! А может, из Берлина? — ехидно щурится сержант. — И давно приехала?

— Час назад. А выехала давно! — вздыхает Светлана. — Еще войны не было. Двадцатого июня выехала, в пятницу... А потом, в пути уже, война началась. Под Читой. А потом чемодан у меня украли. А потом я заболела. Потом поправилась и дальше поехала... Где ехала, где шла... Всяко... Понимаете?

— Нет, гражданка, не понимаю! — строго и недружелюбно говорит сержант. — Очень удивительно, как это вы сумели доехать — больная, без вещей, без денег, без документов?

И опять вздохнув, спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, Светлана отвечает:

— Надо было доехать — я и доехала!..

В разрыв облаков безмятежно выплывает круглая луна, и почти в ту же секунду взывает сирена воздушной тревоги, взлетают в небо шарящие лучи прожекторов, и женский голос по радио говорит:

— Граждане, воздушная тревога!.. Граждане, воздушная тревога!.. Граждане, воздушная тревога!..

Бомбоубежище.

Оно помещается в тире. Висят на стенах выпиленные из фанеры и лихо размалеванные, такие знакомые и даже чем-то трогательные фигуры: оскаливший зубы капиталист в цилиндре, с золотой цепью на круглом брюхе, седовласый дьякон с кадилом, красноносый пьяница и неопределенного вида человек с крыльшками и пояснительной надписью: «Я летун!»

Когда наверху, на воле, ухает особенно близкий разрыв, фигуры разом, точно от прямого попадания снайперской пули, переворачиваются вниз головой и какая-то худая женщина в темном платке неизвестно для чего, просто, наверное, от любви к порядку, с домовитой неторопливостью водворяет их поочереди на место.

Светлана и второй патрульный сидят у самого выхода из убежища, возле дверей, на обгоревшем снарядном ящике.

Очень тихо и доверительно, будто она разговаривает с добрым знакомым, Светлана спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а как мне пройти отсюда на Слободскую улицу?

Патрульный молчит.

Светлана задумчиво оттопыривает губы.

— Нет, вообще-то я примерно представляю себе — надо перейти через мост на ту сторону и затем по автобусной линии до самого конца... Правильно?

Патрульный молчит.

— Игорь мне писал, что их дом самый последний... их домом как бы кончается город... Смешно, верно? Слободская улица, дом три надцать... А вы как думаете, автобусы еще ходят сейчас?

Патрульный молчит.

— Или уже не ходят?

— Слушай, ты отвяжешься от меня? — не выдерживает наконец патрульный и в отчаянии звонко шлепает себя по голенищу сапога. — Как же я могу давать тебе сведения, когда я вообще, ежели ты желаешь знать, не имею права с тобой разговаривать?!..

С улицы с шумом, с грохотом вваливается в убежище сержант. Становятся отчетливо слышны трескотня зениток и по временам низкие могучие раскаты бомбовых разрывов.

— За мостом, гад, охотится! — возбужденно сообщает сержант. — Всю цельную неделю за мостом охотится!..

Он крутит головой, озирается, смотрит на Светлану, неодобрительно поджимает губы.

— Ты что ж это, гражданочка, в шапке сидишь?! Неудобно! Тут, понимаешь, дети спят и вообще — население... А ты в шапке!

— А вы сами?!

— Ты себя с товарищем сержантом не равняй! — строго говорит второй патрульный и, наклонившись к Светлане, шепчет ей в самое ухо яростным шепотом:

— Сними шапку, теха, раз начальство приказывает!..

И тогда, усмехнувшись и сузив глаза, Светлана медленно, обеими руками стягивает теп-

лую шапку-ушанку с круглой, детской, наголо обритой головы.

Молчание.

Второй патрульный фыркает, но, увидев ставшие вдруг бешеными глаза сержанта, принимается судорожно и неестественно кашлять.

— Товарищи! Тут военные есть?..

В проеме двери, тяжело отдуваясь, в измазанной кирпичной пылью шинели стоит пожилой лейтенант.

Патрульные торопливо подходят к нему, козыряют.

— Идемте!

Сержант, поглядывая на Светлану, что-то негромко говорит лейтенанту.

Лейтенант смотрит, улыбается, пренебрежительно машет рукой.

— Да будет вам, Костромин, что за чушь?! Идемте, идемте!

Лейтенант в сопровождении патрульных уходит. Светлана растерянно смотрит им вслед, вскакивает, нагоняет сержанта.

— А я как же?

— А как хочешь! — говорит на ходу сержант и, понизив почему-то голос, добавляет: — Ты надень шапку-то — застудишься!..

Серый день.

Светлана, сгорбившись и нахмурившись, идет через мост. Поднимаются к низкому небу дымы пожарищ. На свинцовой реке закипают и мгновенно гаснут белые гребешки волн. Ветер гудит в стропилах моста, раскачивает маскировочную сеть, а где-то в отдалении, но

и не так уж далеко — глухо и монотонно, и из-за монотонности этой не особенно страшно бахают дальнобойные орудия.

Мост кончается.

Светлана проходит несколько шагов по набережной, уставленной бетонными надолбами, сворачивает в какой-то проулок, испуганно отшатывается от плеснувшего ей внезапно в лицо гама, свиста, плача, хохота и уже через мгновение, помимо собственной воли, оказывается втянутой в неимовернейшую, густую, как каша, людскую толчею.

...Здесь под открытым небом на небольшом сравнительно пространстве, огороженном двумя рядами дощатых бараков и в просторечии именуемом «Симеоновой лужей», вьется, кипит, ходит ходуном военной поры вещевой рынок, или, говоря точнее, бараходка.

...Вот какой-то мальчуган раскрыл перед румяной бабищей толстый плюшевый альбом с пожелтевшими чужими семейными фотографиями.

- Это кто ж такой будет, с усами?
- Дедушка!
- А чего он такой сердитый?
- Он помер.

— А ну, ну тогда, конечно, веселого мало!
Сколько хочешь на всю компанию?

— Полста.

— А как отдашь? Ты настоящую говори цену, я бы взяла для мальчишки, пущай полюбуется, как люди жили!..

...Вот какой-то невысокий мужчина с заплаченными глазами вытащил из бумажного па-

кета теплое зимнее пальто, и вокруг него немедленно закружился бешеный водоворот, замелькали руки, азартно забожились и заспорили перекупщики, кого-то, воспользовавшись случаем, съездили по уху, заскорузлые пальцы полезли в потные глубины тайников за смятыми заветными сторублевками.

...Светлана, стиснув зубы, отчаянно пробирается сквозь толпу и вдруг останавливается.

Привалившись спиной к стене барака, в легоньком не по сезону пыльнике с оторванными пуговицами стоит молодая женщина — одних примерно со Светланой лет — и держит в руках белое вечернее платье.

Оно по-настоящему красиво, без оборочек и финтифлюшек, скромное, строгое и вместе с тем необыкновенно нарядное платье. Для какого торжественного случая сшило было оно? Для свадьбы? Для встречи Нового года? Для выпускного студенческого бала? И довелось ли его хозяйке хоть раз надеть это платье, кто знает?!

Молодая женщина молча смотрит на Светлану.

Светлана молча смотрит на платье.

Вокруг них кипит и кружится бараходка, кричит, клянется, ссорится, спорит, а они стоят друг против друга, две молодые женщины, очень разные и в чем-то неуловимо похожие, словно отделенные от всей этой копеечной сути какими-то своими, им одним понятными воспоминаниями.

Светлана разводит руками и печально улыбается.

Молодая женщина вопросительно сдвигает брови.

И тогда с внезапной, отчаянной решимостью Светлана достает из-за пазухи буханку черного хлеба, разламывает ее на две половины, снимает с себя ватник и, по-прежнему ни слова не говоря, протягивает все это молодой женщине.

А молодая женщина протягивает Светлане белое вечернее платье.

И еще раз грустно улыбнувшись, так и не сказав друг другу ни единого слова, они навсегда расходятся в разные стороны и уже через секунду теряются в людской толчее — две маленькие одинокие фигурки в галдящем водовороте рынка.

Слободская улица, дом номер тринадцать.

Этим двухэтажным, сложенным из грубого красного кирпича приземистым домом, действительно как бы кончается город.

Дом стоит на возвышении, точно сторожевой пост. Уже много лет встречает он мужественно, грудью, все бури и непогоды, и местные жители недаром прозвали его: «На семи ветрах».

Сразу же за невысокой оградой, сделав вокруг дома кручу петлю с северо-востока на запад, бетонированное шоссе устремляется вперед — через поле, изрытое буграми и оврагами, через оловянные озерца, к дальнему лесу, темнеющему на горизонте.

Светлана медленно, перекинув через руку белое платье и зябко поеживаясь, проходит

двором, останавливается возле могучей старой березы, проводит рукой, точно здороваясь, по зарубкам — пронзенным сердцам и метам на коре, — потом поднимается по ступенькам кирпичного крыльца, толкает парадную дверь, над которой висит непонятно к кому обращенная надпись «Добро пожаловать!», переступает через порог, и разыгравшийся ветер швыряет ей вслед, в спину, в темноту парадного ворота бумаги, тряпок и облетевшей осенней листвы...

Лестничная площадка на втором жилом этаже.

Светлана стоит перед дверью, обитой черной kleenкой, и внимательно изучает маленькую табличку, на которой тушью четко выведено: «И. Корнеев — один звонок».

Светлана, улыбнувшись, дергает за ручку звонка. Дребезжит колокольчик — три коротких звонка и один длинный, три коротких и один длинный.

Тишина.

«М. П. Елифанцев — два звонка».

Светлана звонит два раза.

Тишина. Никто не откликается.

Светлана звонит три раза, четыре раза, пять раз и наконец просто берется за ручку двери, чуть отжимает ее книзу. Незапертая дверь послушно распахивается, открывая длинный, кажущийся бесконечным, полутемный коридор.

По обе стороны коридора — двери в комнаты, и двери эти сейчас тоже незаперты. Из них,

как из распоротых перин, с наивным бесстыдством вываливаются в коридор драные простыни и грязное белье, сношенная обувь и поломанные детские игрушки, и какие-то баулы и плетенки, и бумаги, бумаги, целые горы бумаг всяческого рода и назначения, и снова белье, стулья, стульчики — весь тот домашний хлам, что накапливается годами и даже бывает чем-то мил сердцу своих владельцев, и вдруг сразу становится ненавистен в минуту бегства и смертельной опасности.

И только на одной-единственной двери, в самом конце коридора, висит аккуратный замок и пришпилена кнопкой записка:

«Сегодня, десятого августа, опять плохая сводка. Пошел исправлять. Если кому надо — мой ключ у Готлибов, это в шестой комнате, напротив. Подождите меня. Возьму Берлин и вернусь! Игорь.»

Светлана дважды перечитывает записку, смотрит на распахнутую дверь шестой комнаты, где царит все тот же хаос и нет никаких Готлибов, улыбается, вскидывает голову и с деланной бодростью, громко говорит:

— Ну, ладно, уж, Игорь, ладно, я тебя пожду!

Комната Готлибов. Ранний вечер.

Уже вымыт пол, застелена постель, заклеено бумагой окно.

Светлана с усталой и довольной улыбкой вешает в шкаф свое новое вечернее платье, тщательно расправляет его на самодельных плечиках, включает найденную среди мусора

электрическую плитку и со смешным любопытством наблюдает за тем, как накаляются и становятся красными тонкие витки спиральки.

Светлана стоит во дворе у колодезной колонки и по-хозяйски запасливо набирает воду в ведра, в ковшик, в кастрюли, в чайник.

Красноватое солнце опускается за верхушки дальнего леса. Утих ветер, посинела река.

Автомобильный гудок.

У края дороги, выплеснув на обочину жидкую грязь, останавливается открытая машина. Какой-то кругленький штатский человек спрыгивает на землю и, размахивая толстенным портфелем, не глядя на Светлану, бежит к дому. Высокий военный, оставшийся в машине, улыбается Светлане, окликает мягким теплорком:

— Хозяюшка, водицей не угостите?

Светлана набирает в ковшик прозрачной воды, подходит к машине, подает ковшик военному.

— А почему это у вас написано «Добро пожаловать»?

— Это кому же «Добро пожаловать»? Немцам, что ли?! — раздается скрипучий, неприязненный голос, и Светлана только теперь замечает, что рядом с военным сидит, откинувшись на кожаное сиденье, еще один штатский — человек лет сорока, седой, с загорелым лицом, на котором странно выделяются про-

зрачные, точно выцветшие, светло-голубые
шалые глаза.

— Здесь клуб внизу. И почта. И сберкасса. Вот и написали! — объясняет Светлана.

Но седой человек, не слушая ее и глядя куда-то вверх, в небо, задумчиво усмехается:

— У нас очень любят вешать две надписи: «Добро пожаловать» и «Посторонним вход воспрещен!» Почему это, товарищ командарм?

— Для порядка, Иван Николаевич! — ми-
ролюбиво отвечает военный, не отрывая губ от ковшика.

— Для порядка?! — насмешливо и про-
тяжно переспрашивает седой человек. — Не
знаю, не знаю... В мире на сотнях тысяч две-
рей написаны эти слова: «Посторонним вход
запрещен». А много ли порядка? — Он вне-
запно резко поворачивается к Светлане. —
Ты чего на меня, красотка, уставилась?

Светлана, рассердившись, отводит глаза.

— А я и не уставилась, очень нужно!

— Вот и напрасно! — вдруг весело, вне
всякой логики говорит седой. — Ты гляди на
меня и запоминай! Таких, как я, может, и нет
больше, единственный в своем роде! Верно,
товарищ командарм?

— Я не командарм, Иван Николаевич, —
улыбаясь, как улыбаются, сдерживая ярость,
капризному ребенку, говорит военный. — Я
всего лишь комдив, неужто вы никак не може-
те это запомнить?

— Запомню! — кивает седой. — Непремен-
но запомню. Потом! После. Когда голова не
будет занята ничем другим, — он стискивает

зубы. — А все эти дни и ночи я должен был
думать о том, как это сделать. Сегодня в
двадцать пять-пять. И как это сделать быст-
рее и лучше. И как это сделать так, чтобы
ничего нельзя было исправить. И как сделать
так, чтобы все-таки можно было исправить,
когда нам понадобится... Видите, как много
было всякой всячины, о которой мне приходи-
лось думать? Почему вы так много пьете?

— Я ел селедку.

Седой человек всплескивает руками в по-
рыве неудержимого веселья.

— Дивно, дивно! За что я люблю военных,
так это за умение мыслить прямыми связями.
Хочу пить, потому что ел селедку. Отступаю,
потому что слабее. Наступаю, потому что
сильнее...

Толстенький человек в кожаной куртке, от-
дуваясь и пыхтя, выбегает из дома.

— Ну, что там, Лаврентьев? — сердито ок-
ликает его военный. — Ехать пора!

— Ни черта не выходит! Такой, понимаете,
сатанинский несгораемый шкаф — его и вде-
сятером с места не сдвинешь.

— А ключа у вас нет?

— Ключи есть, а мешков нет. А ведь там
сумма!

Он смотрит на Светлану, расставив ноги и
наклонив голову, будто собирается боднуть,
отрывисто, строго спрашивает:

— Здешняя? Как фамилия?

— Ившова.

Военный постукивает пальцем по часам.

— Время, товарищ Лаврентьев.

— Держи ключи, Ивашова! — отчаянно говорит Лаврентьев. — Под твою ответственность. С тебя спрошу, учи. Я тебя хоть под землей разыщу! У меня глаз вострый! Приедет грузовик, предъявит тебе записку от меня лично, от товарища Лаврентьева, ну, тогда и сейф и ключ отдай. А без моей записки никому ни-ни... Усвоила? Лаврентьев моя фамилия, усвоила?

— Усвоила.

Лаврентьев с ног до головы оглядывает Светлану, с сомнением качает головой и, тяжело вздохнув, лезет в машину.

— Поехали!

Военный вежливо улыбается Светлане.

— Спасибо за ковшик!

Седой человек приветственным жестом поднимает руку.

— Прощайте, красавица! Боюсь, что вы еще вспомните обо мне! Вернее, услышите. И не далее как сегодня! И не позднее, чем в двадцать ноль-ноль!

Вечер.

Светлана лежит на постели в комнате Готлибов, закинув руки за голову, о чем-то думает, хмурится, улыбается.

Уютно поет на электрической плитке закипающий чайник. Горит лампочка. Тикают часы-будильник. Стрелки приближаются к восьми вечера. Неожиданно свет почти гаснет. Светлана поднимает глаза к потолку. Продолжит несколько мгновений, и лампочка загорается с прежней силой, даже еще ярче.

И снова начинает медленно гаснуть. И снова разгорается.

Тикают часы.

Светлана смотрит — ровно восемь.

Лампочка, разгоревшись и мигнув в последний раз, гаснет.

И в ту же секунду по земле, по небу, по воде прокатывается могучий, оглушительный, ни с чем не сравнимый взрыв, как воющий вопль, усиленный эхом земли, неба, воды, повторенный стократ всеми голосами и подголосками, всем живым и мертвым.

И вот тогда уже действительно наступает полная кромешная темнота.

И тишина.

И в этой тишине вдруг становится отчетливо слышно, как бахают дальнобойные орудия и как вновь поднявшийся ветер громыхает железом на крыше и пытается сорвать с окна неплотно пригнанный ставень.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, пятнадцатого декабря, на энском направлении под давлением превосходящих сил противника наши войска оставили населенные пункты Масловку, Воробьево, Кыж, Стрепетово и отступили с боями на заранее подготовленные позиции...

Мимо дома «На семи ветрах» по грязновато-серому скрипучему декабрьскому снегу мед-

ленно движется по направлению к городу бесконечный поток: искалеченные тягачи тащат разбитые орудия; переваливаются через сугробы покареженные и смятые, словно старые консервные банки, опаленные в боях бронетранспортеры; инвалиды-грузовики с откинутыми бортами провозят инвалидов-солдат; и солдаты в бинтах и лубках, в обожженных шинелях, свесив ноги и болезненно помаргивая, крикливыми голосами поют и, как это ни странно, довольно весело:

— На горе-то калина,
На горе-то малина,
Калина-малина-калина,
Чубарики-чубчики калина!..

А им навстречу новенькие тягачи тащат новенькие зачехленные орудия; сурово припечатывают снег бронетранспортеры и легкие танки; едут на грузовиках солдаты с переформировками, из госпиталей, новички, резерв, пополнение. Им уже успели выдать зимнее обмундирование — полушибки, валенки, теплые шапки.

И теперь они сидят в грузовиках неуклюжие, суровые, степенные, молчаливые. Хмурятся. Держат на коленях автоматы. Поглядывают на небо. И не поют.

Только изредка кто-нибудь с наигранным безразличием окликает сидящих во встречной машине и задает все один и тот же неопределенный и вместе с тем хорошо понятный вопрос:

— Ну как он там?
И в ответ с коротким смешком:

— Фриц-то? А ничего, дает прикурить!

Светлана стоит на крыльце. Она в своей неизменной шапке-ушанке, в какой-то немыслимой, прабабкиной бархатной кацевайке, в стареньких, но аккуратно подшитых валенках, в пестром шарфике, — бог весть где она сумела все это раздобыть!

Скрестив на груди иззябшие руки, она стоит и молча, неотрывно смотрит на дорогу, на серый снег, на проезжающие мимо грузовики, на хмурые лица солдат.

...Пусть стоит она всегда где-нибудь на краю дороги, на одном из тысяч перекрестков, над которым гремела и кружила война, пусть стоит одинокая женская фигура — памятник нашим женам, матерям и невестам! И не надо бы ей никаких постаментов, никаких мраморных или, того пуще, чугунных подножий, никаких символических венков, никакой героической позы... Ничего этого не надо! Пусть она просто стоит, эта женщина, и смотрит на дорогу, скрестив на груди иззябшие рабочие руки. Пусть она стоит, как стояла в те ужасные дни. Провожает ли она? Ждет ли? Все равно! Пусть она стоит как памятник и напоминание. Она заслужила это скорбное право!..

...Две легковые машины — «эмка» и «виллис» — и четыре больших крытых грузовика выворачивают в сторону из общего потока машин, идущих к городу. Съезжают с дороги и останавливаются перед домом «На семи ветрах».

Из «виллиса» выходят двое — пожилой, сухонький, маленького роста, с белесыми бровя-

ми и очень желтым больным лицом полковник Пёттерсон и высокий, широкоплечий капитан Зубарев, полноватый, с румянцем во всю щеку. Полковник остается у машины, а Зубарев подходит ближе, не спеша, внимательно оглядывает дом, встречается глазами со Светланой.

— Здравствуйте! — очень вежливо говорит Светлана.

Зубарев кивает головой и, оттопырив губы, играя бровями и чуть прищепетывая, спрашивает:

— Чье хозяйство?

Светлана, не понимая, растерянно улыбается.

— Кем занят дом? — как-то сразу и неизвестно почему раздражаясь, продолжает допытываться Зубарев. — Ну? Кто здесь стоит?

— Никто.

— Ага! Ну-ка, пройдемте!

Первый этаж.

Не разговаривая и даже не глядя друг на друга, Светлана и Зубарев проходят наискосок полутемное клубное фойе, останавливаются в дверях зрительного зала.

На пустой сцене с оборванным бархатным занавесом почти у самой рампы стоит бутафорское кресло с позолоченными подлокотниками и гнутыми ножками; висит задник, изображающий украинскую хатку в окружении неправдоподобно больших подсолнухов и неправдоподобно красных маков.

— Клуб? — не то утверждая, не то спрашивая, отрывисто произносит Зубарев.

— Клуб! — кивает Светлана.

— Понятно, пошли дальше!

И опять в молчании Светлана и Зубарев пересекают полутемное фойе и проходят через площадку в помещение сберкассы и почты.

Посредине небольшой комнаты, перегороженной на две половины деревянным барьерчиком, стоит старинный, огромный, как дом, несгораемый сейф. Видно, что его пытались вытащить на улицу, но не смогли или не успели, а теперь он стоит, загораживая проходы и выходы, сияя никелированными ручками, загадочным, секретным замком и надраенной медной дощечкой с надписью:

«Страховое общество «Россия».

— Сберкасса? — спрашивает капитан.

— Сберкасса! — подтверждает Светлана.

По скрипучим ступеням Зубарев и Светлана поднимаются наверх, во второй этаж.

— А здесь что было?

— Здесь люди жили.

Зубарев почему-то усмехается:

— Ах, люди?! Гражданское население! Где же они? Эвакуировались?

— Уехали!

— А вы? — небрежно осведомляется Зубарев.

— А я приехала.

— Понятно!

Зубарев, покачивая головой, идет по коридору, заглядывает в комнаты, останавливается у той единственной запертой двери, дер-

гаet ее несколько раз, внимательно изучает табличку, на которой обозначено имя хозяина, читает вслух:

— «И. Корнеев!»

Он оборачивается к Светлане.— А почему гражданин Корнеев заперся?

— Он не заперся, он на фронте!

— Ах, на фронте?!

Зубарев снова усмехается, шагает к приоткрытым дверям комнаты номер шесть, удивленно поднимает брови, снова внимательно изучает табличку с именем хозяев, снова читает вслух:

— «М. Готлиб».

И вдруг, глядя в упор на Светлану, Зубарев спрашивает быстро и резко:

— А здесь кто живет?

— Я.

— Одна живете?

— Одна.

— Понятно.

Зубарев поворачивается к Светлане спиной и уже на ходу, все с той же странной усмешкой бросает через плечо:

— Что же, спасибо, гражданска Готлиб, мне все понятно!

...Посасывая пустую трубку, щуря маленькие под белесыми бровями колючие серые глаза, молча стоит у машины полковник Вольдемар Янович Петерсон — ответственный редактор армейской газеты «Вперед».

Он стоит неподвижно, спиной к дороге и лицом к дому. Но он не смотрит на дом и не оглядывается на дорогу. Он только слушает,

как скрипит снег под колесами машины, как ворчат и ухают грузовики, как у моста, на переправе, ругаются регулировщики и поют солдаты:

— Там девица гуляла,
Цветы калины ломала,
Ломала ломала, ломала,
Чубарики-чубчики ломала!

— Товарищ полковник, разрешите доложить?! Дом пустой и вполне пригодный! Прикажете разгружаться?

Полковник, точно вопрос этот обращен не к нему, кивает головой в сторону дороги, поднимает руку с растопыренными сухими пальцами, медленно говорит:

— Слышиште?! Все отступаем, капитан, все отступаем! Туда едем — молчим, оттуда едем — поем! — Он усмехается: — Вот и извольте-ка для армии, которая от самой границы отступает на восток, назад, делать газету, которая называется «Вперед»! Нелегкая задача, капитан, а?!

Зубарев изображает на лице сочувственную улыбку и с нажимом повторяет вопрос:

— Так как же будет, Вольдемар Янович? Прикажете разгружаться?

Полковник, помолчав, машет рукой.

— Да-да, конечно! Распорядитесь, Зубарев...

Вот так в хмурый декабрьский день после очередного отступления и перегруппировки тылов въезжает в дом номер триадцать по

Слободской улице, в дом «На семи ветрах», редакция армейской газеты «Вперед», или, как значится на стрелке, которую приколачивают связисты к дорожному столбу: «Хозяйство полковника Петерсона».

Поздний вечер.

Комната Готлибов, которую делят теперь вместе со Светланой хорошеная редакционная машинистка ефрейтор Зиночка и старший лейтенант Долли Максимовна Петрова — корректор.

Тарахтит во дворе движок, стучит пишущая машинка, помаргивает лампочка, в коридоре слышны голоса и шаги, внизу, в клубном зале, кто-то наигрывает одним пальцем на рояле.

Долли Максимовна — худая, горбоносая, похожая на цыганку — сидит на своем топчане, длинными желтыми пальцами небрежно и ловко сворачивает самокрутку, лениво цедит:

— Учитите, девочки, что я очень много курю. И не собираюсь бросать. И не намерена выходить курить в коридор! Так что привыкайте!

— Привыкли уже, слава богу! — говорит Зиночка, сосредоточенно разглядывая свое изображение в осколке зеркала.

Долли Максимовна заклеивает языком самокрутку, закуривает, сбросив сапоги, ложится на топчан поверх одеяла.

— Я имею в виду не вас, Зиночка, вы-то ко всему привыкли!

Зиночка обидчиво поджимает губы:

— На что это вы намекаете, Долли Максимовна?!

— Ну, я за чаем! — быстро, с откровенным желанием разрядить обстановку говорит Светлана, берет чайник, накидывает на плечи бархатную кацавейку, но в это мгновение без стука распахивается дверь и в комнату входит Зубарев.

— Добрый вечер! Не спите? Как устроились?

Светлана в нерешительности останавливается. Долли Максимовна продолжает курить, и только Зиночка, невольно подражая Зубареву — играя бровями и прищептывая, — отвечает громко, с военной лихостью:

— Добрый вечер, товарищ капитан! Спасибо, устроились хорошо!

Зубарев кивает головой, улыбается Зиночке, переводит взгляд на застывшую посередине комнаты с чайником в руках Светлану, сдвигает брови.

— А скажите, пожалуйста, граждanka Готлиб, что за фамилия: Готлиб? Еврейская или немецкая?

— Не знаю.

— Как это — не знаете? Ну вы сами кто?

— Я русская, — отвечает Светлана и, понизив голос, отчеканивая каждое слово, значительно произносит: — И фамилия моя совсем другая! И нахожусь я здесь, потому что... Можете спросить у товарища Лаврентьева почему я здесь!

— У кого?

— У товарища Лаврентьева! — повторяет

Светлана и показывает Зубареву висящий у нее на шее на шнурке ключ.— Видите? — И, считая разговор на этом исчерпанным, Светлана быстро поворачивается спиной к ошеломленному Зубареву, с независимым видом выходит из комнаты, оглушительно грохает дверью.

Зубарев растерянно смотрит ей вслед, хмыкает.

— Ну-ну!

Помолчав, стараясь не встречаться глазами с Долли Максимовной и Зиной, он спрашивает с наигранной веселостью:

— Значит, все в порядке товарищи? Ничего больше не надо? Никаких желаний не имеется?

— Желания имеются! — отвечает неожиданно Долли Максимовна. — И даже целых три. Как в сказке.

— А именно?

— Хочу, чтоб кончилась поскорее война! Хочу вернуться домой! Хочу, чтоб вы, капитан, покинули нашу комнату! Извините, я уже сплю... Спокойной ночи!

Зубарев с окаменевшим лицом идет к двери, задерживается на пороге.

— А победить, товарищ Петрова, такого желания у вас нет?

Долли Максимовна насмешливо щурится.

— Я верю, что наше дело правое и что победа будет за нами! А вы разве не верите в это?

Зубарев, с трудом сдерживая ярость, сухо говорит:

— Рекомендую вам, лейтенант Петрова, не забывать, что вы служите в армии!

Хлопает дверь.

Долли Максимовна, потянувшись, закидывает руки за голову.

— Господи, какая тоска! Хоть бы уж Славочки Суздалев поскорее вернулся!..

День. Солнце.

Светлана, загребая валенками пушистый, выпавший за ночь снег, с охапкой дров в руках поднимается на крыльцо, входит в сени.

Мимо, едва не сбив ее с ног, пулей проносится долговязый и длинноносый секретарь редакции Лапин, влетает в комнату, где помещались прежде сберкасса и почта и где теперь в сизых клубах махорочного дыма сидят литсотрудники и корректоры, и кричит, потрясая над головой огромными, похожими на портновские, ножницами:

— Эй, Гомеры! Срочно нужны факты героизма — на всю полосу, по десять-пятнадцать строчек! Давайте, орлы, быстренько!..

Он стукается плечом, со всего размаха об угол несгораемого сейфа, вопит:

— Черт вас возьми! Вы когда-нибудь уверете эту проклятую бандуру?!

И, провожаемый насмешливыми изъявлениями сочувствия, охая и потирая ушибленное плечо, Лапин мчится назад, в клубный зал, догоняет в полутемном фойе Светлану, замедляет шаги, улыбается:

— Светлана Андреевна, голубчик! Говорят, вы не разрешаете трогать сейф! Может,

можно его хоть куда-нибудь в угол задвинуть?

— Нельзя, товарищ Лапин! — мягко и вместе с тем чрезвычайно категорически отвечает Светлана. — Ну, просто никак нельзя. За ним скоро должны приехать.

Помолчав, она говорит, словно извиняясь:

— А гимнастерку я вашу заштопала и в комнату к вам повесила!

— Спасибо, спасибо, вы добрый гений! Сводку слышали? Замер фриц! Начинается великое стояние. А нашему старику приспичило — подавай факты героизма!..

Зрительный зал.

Выглядит он весьма странно — стулья убраны, сдвинуты к стенам, и посредине зала стоит невероятных размеров самодельный, на козлах, стол, за которым воинственно соседствуют заведующие отделами редакции.

За маленьким отдельным столиком стучит на пишущей машинке ефрейтор Зиночка.

А на сцене на фоне украинской хатки и маков с подсолнухами сидит в старинном по золоченом кресле полковник Петерсон и, похлопывая ладонью по краю стола, говорит монотонно, не повышая голоса:

— Мне нужны факты, факты и только факты...

Заведующий отделом информации, толстый, с голубыми на выкате глазами майор Сотник, сокрушенno вздыхает:

— Так ведь затишье у нас, Вольдемар Янович, бои местного значения.

— Чепуха, майор Сотник! — сердито трясет головой Петерсон. — Ну, а где материал о разведчиках?

Лапин, машинально пощелкивая ножницами, говорит:

— У разведчиков Суздалев. Вот вернется и...

Петерсон вздергивает острые плечи и усмехается:

— Опять Суздалев. Материала о разведчиках нет — не вернулся Суздалев! Отдел юмора помещает какие-то дурацкие старые анекдоты тоже потому, что не вернулся Суздалев! Так, может, мы все пойдем на передовую, а газету будет делать один Суздалев?!

Телефонный звонок.

Петерсон снимает трубку.

Зубарев грозно рявкает в зал:

— Потише там!

Перестает стучать пишущая машинка, и Зиночка, воспользовавшись передышкой, немедленно достает из ящика стола зеркальце.

Замирает Светлана, сидящая на корточках возле печки-времянки.

— Слушаю! — говорит в телефон полковник и кивает. — Привет!.. Ну, какое же новоселье, когда мы тут целую неделю уже... Так, слушаю! — Он придвигает к себе блокнот, что-то записывает. — Знаю его. Молодец Бородин!.. Понимаю, да!.. Послать человека? Конечно, непременно пошлем!.. Кого? — он насмешливо смотрит на постные лица Сотника, Лапина и Зубарева, фыркает. — Суздалев на задании и еще не вернулся! Мы к Бороди-

ну майора Сотника пошлем, ему полезно будет проветриться!.. Есть!

Петерсон опускает трубку на рычаг, поджимает губы и снова насмешливо фыркает:

— Бой местного значения! А вот батальон Бородина в бою местного значения поджог шесть немецких танков! Ну, что шесть, это, возможно, им показалось, но три наверное! Поедете к Бородину; Сотник, и дадите к вечеру информацию! Поняли?

— Слушаю, товарищ полковник!

— Ступайте! — Петерсон кивает Зубареву. — И закройте меня, Юрий Петрович!..

Зубарев задерживает с двух сторон бархатный занавес и вместе с Лапиным и Сотником спускается в зал.

Полковник Петерсон остается на сцене один, отгороженный от всех и вся тяжелым пыльным бархатным занавесом.

Он сидит молча — очень маленький в очень большом позолоченном кресле, — думает о чем-то, посасывает пустую трубку, покачивает головой.

Гудят внизу, в зрительном зале, громкие голоса, звякают ножницы, стучит пищащая машинка.

Лапин, священнодействуя, выклевывает на рояле макет очередного номера. Рядом стоит щеголеватый, весь в молниях, фотокорреспондент Аркадий Киселев и недовольно бубнит:

— Если вам не нужны мои снимки, вы так и скажите! У меня их в «Красной звезде» с руками оторвут!..

— Отстань, Аркаша!..

Трудолюбиво, как дятел, стучит на пишущей машинке ефрейтор Зиночка. Светлана сидит на корточках перед печкой-времянкой, греет озябшие руки. Постреливают в печке сирые поленья, пляшут невысокие языки пламени, освещают усталое лицо Светланы с обветренным лбом и полузакрытymi глазами.

Гулко хлопает входная дверь.

Мягкий тенорок произносит нараспев, громко и весело:

— Здравия желаю, товарищи редакция! Насилу вас нашел на новом месте!

— Гаркуша! — радостно кричит Зиночка. — Товарищи, Гаркуша! Здравствуйте, миленъкий!

Светлана прислушивается, не вставая, не поднимая глаз и не оборачиваясь.

— Министру почт и телеграфа пламенный литературный привет! — произносит голос Лапина. — Давненько вас не было! С чем пожаловали?

— Ну-ка, ну-ка, выкладывай! — это пыхтит Сотник.

— Спокойно, товарищи, все в порядке! — это, разумеется, говорит Зубарев.

— Вот — прошу.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка!..

...Худенький невысокий солдатик в нескладной шинели и сапогах бутылками, с удивительно добрым курносым лицом, вручив Зубареву пачку писем, подходит к времянке, опускается на корточки рядом со Светланой.

— Разрешите погреться?

— Пожалуйста.

Солдатик искоса смотрит на Светлану, улыбается.

— А вас я, вроде бы, раньше не видел! Новенькая? Вольнонаемная?

— Нет, я просто... живу здесь.

Беспрерывно хлопает дверь — это спешат за письмами корректоры, литературные сотрудники, наборщики, печатники.

— Мне есть? — быстро и взволнованно спрашивает Долли Максимовна. — Мне что-нибудь есть?

И снова слышен рассудительный голос Зубарева:

— Товарищи, товарищи, все по порядку! Киселев!

— Да?

— Прошу... Письмо в редакцию... в редакцию... в редакцию газеты «Вперед»... Возьмите, Лапин!.. Майор Сотник!

— Я.

— Держите! Ефрейтор Фомичева.

Звенивший голос Зиночки:

— Ой, от мамы!

— Суздалеву... Суздалеву... Суздалеву... Карапул!.. Еще Суздалеву и еще Суздалеву!..

Солдатик с хитрой усмешкой подмигивает Светлане.

— Ох, уж и пишут капитану Суздалеву! Пишут и пишут! И все дамочки, между прочим!

— Коновалов!

— В госпитале.

Чей-то угрюмый бас:

— Помер он.

— А мне? — это снова голос Долли Максимовны. — Вы не пропустили меня?

Зубарев вертит в пальцах маленький смятый треугольничек фронтового письма. На конверте размашистым почему-то знакомым почерком написано:

«Слободская улица. Дом номер тридцать, комната номер шесть, Готлибам».

И чуть пониже — обратный адрес: «Полевая почта ПШ 0347, Корнеев Игорь...»

— Братцы, братцы, это колossalно! — врывается в общий гул захлебывающийся от смеха голос Лапина. — Очередное послание от неизвестного «защитника родины». Просит напечатать новый стих... Сейчас получите огромное художественное наслаждение...

На лице солдатика — почтальона Гаркуши — появляется странное, жалкое, виновато-испуганное выражение. Он снова искоса бросает взгляд на Светлану, ежится и с какой-то растерянной суеверностью принимается запихивать в печку обгоревший березовый чурбачок.

Лапин с глубоким чувством, подывая, как старый провинциальный трагик, читает:

«Ужасная мина мне стукнет в колено,
И кровью горючей уж я изойду,
Но знайте же, фрицы, что хоть и калека,
Я все-таки в ваши Берлины приду!
С своим автоматом до рейхстага дойду я.
И Гитлеру пулю всажу я в живот.
За нашу страну, за Сосновку родную,
Где мама моя дорогая живет!..»

Хохот.

И почтальон Гаркуша тоже смеется вместе со всеми дребезжащим тоненьким смехом и все поглядывает на Светлану, точно приглашая ее принять участие в общем веселье.

Но Светлана по-прежнему молчит, хмурится, смотрит, не отрываясь на пляшущие языки пламени.

Внезапно над самой ее головой раздается голос Зубарева:

— Так вы утверждаете, что ваша фамилия не Готлиб?

— Нет! — резко, не оборачиваясь, отвечает Светлана.

— А может быть, все-таки Готлиб?

— Нет.

— А где Готлиб?

— Не знаю. Уехали.

— Понятно!

Зубарев швыряет на стол смятый треугольник фронтового письма, берет красный карандаш и крупно надписывает на конверте: «Адресат выбыл».

Потом, секунду помедлив, он снова принимается разбирать почту.

— Журавлев!

— Здесь!

— Получайте... И пишите ответы, товарищи, не задерживайте!

— Ивашова... Здесь есть Ивашова?

Это спрашивает не Зубарев и не Лапин. И Светлана впервые оборачивается, встает, вопросительно озирается. Зубарев наблюдает за ней с насмешливым любопытством.

— Товарищ Ивашова?!

На авансцене, раздвинув обеими руками бархатный занавес, точно конферансье, объявляющий очередной номер, стоит полковник Петерсон и смотрит вниз, в зал, на Светлану.

— Это вы?

— Да.

Петерсон делает рукой приглашающий жест.

— Прошу. Вас к телефону. Срочно. Из Облисполкома — товарищ Лаврентьев!

Светлана стоит у стола полковника Петерсона, прижимает к уху телефонную трубку.

На другом конце провода, растрепанный, похудевший, с перевязанным горлом, кашляет и хрюпит Лаврентьев.

— Значит, говоришь, порядок? Ладно, допустим. Теперь слушай, Ивашова... Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Ты меня слушай... Такое дело — завтра утром, часов с восьми, подежурь, дорогуша, на шоссе, возле моста... Приедет машина... Но там такой, понимаешь, шофер — лопух... Сто раз я ему адрес втолковывал — ни черта, он, по-моему, не понял. Так уж ты его встреть — полуторка номер сорок два шестьдесят два, у шофера к тебе от меня записка... Усвоила?

— Усвоила!

— Ну, привет, дорогуша! Бывай здорова! Светлана опускает телефонную трубку. Петерсон грустно улыбается.

— Такая тут сейчас в городе неразбериха: и гражданские власти и военные... и у всех дела, и все командуют... Вас зовут Светлана Андреевна?

— Да.

Петерсон пододвигает Светлане табурет.

— Садитесь, Светлана Андреевна.

Светлана, настороженно взглянув на полковника, садится, устало кладет руки на колени.

— Видите ли, — помолчав, мягко говорит Петерсон, — я хотел бы задать вам один нескромный вопрос — что вы едите?

Светлана, растерявшись, смущенно пожимает плечами.

— Как — что ем? Ну, что все...

— Нет, это неправда! Все получают военное довольствие. Паек. А вы стираете, топите печи, убираете, носите воду, дрова, — я вижу, вижу — и не получаете ничего... Карточки у вас есть?

— Карточек нет, но...

Петерсон усмехается, кивает Светлане головой.

— Ладно, ступайте! И попросите ко мне капитана Зубарева!

Светлана, не двигаясь, поднимает глаза на Петерсона, тихо говорит:

— Не надо, товарищ полковник!

Молчание.

Внизу, в зале, все продолжается перекличка:

— Жучков!

— Здесь.

— Держите.

— А мне? Нет, вы, наверное, пропустили меня...

— Ну, ладно, Светлана Андреевна, ступайте! — сухо и строго говорит Петерсон.

Ночь.

Гуляет за окнами ночная метель — счет по дребезжащим стеклам колючим снегом, громыхает жестью на крыше.

На кухне тускло помаргивает коптилка.

Светлана, склонившись над деревянным корытом, прополаскивает белье. Часть белья, уже постиранная, сохнет на длинной веревке, протянутой через всю комнату.

На колченогом кухонном столе на газетной бумаге лежат полбуханки черного хлеба, банка консервов, несколько кусков сахара, и Светлана, выполаскивая и выкручивая белье, нет-нет, да и поглядит с довольной улыбкой на все это неслыханное богатство.

В коридоре раздаются осторожные шаги, дверь приотворяется, и входит Долли Максимовна с вечной самокруткой в зубах.

— Доброй ночи! Можно? Не помешаю?

— Не спится, Долли Максимовна?

— Не спится, голубчик!

Долли Максимовна, сгорбившись, садится на лавку у кухонного стола, прислушивается к вою ветра за окном, тихо говорит:

— Метель. Настоящая рождественская метель! — Она смотрит исподлобья на Светлану, неожиданно спрашивая:

— Вы верите в бога, Светлана?

Светлана, продолжая возиться с бельем, молча отрицательно качает головой.

— А я хотела бы верить. Иногда. Сегодня ночью, например! Посудите сами, ну кому, кроме бога, могу я молиться о том, чтобы мой муж и сын там, в Ленинграде, в блокаде и голоде, остались живы?! Не молиться же Верховному командованию или ЦК! У них хватает забот!

— А у бога? — спрашивает Светлана.

— А у бога других забот нет! — твердо говорит Долли Максимовна.

Гудит ветер.

Светлана, отжав белье, принимается развешивать его на веревке.

Долли Максимовна, обжигая пальцы, докуривает самокрутку, гасит ее и тут же немедленно начинает сворачивать новую.

— Скажите, Долли Максимовна, — раздается из-за белья негромкий голос Светланы. — Я все хотела вас спросить... Вот если человек в мирное время был геологом, то кем он должен быть в армии, как вы думаете?

Долли Максимовна пожимает плечами.

— Трудно сказать, скорее всего, пожалуй, сапером.

Выюга на улице взывает как-то по-особенному протяжно и дико.

— Ой-ой-ой! — ежится Долли Максимовна. — Вы рассказывали, Светик, помните, что этот дом местные жители называют «Дом на семи ветрах»! — Она снова закуривает. — Вот уж воистину на семи ветрах!

Светлана, вынырнув из-под белья, сни-

мает с табуреток пустое корыто, ставит его на пол, берет тряпку.

— Хватит, Светик, хватит! — говорит Долли Максимовна. — На вас лица нет!

Светлана, опустившись на колени, тщательно вытирает пол, что-то бормочет, поднимается, ополоскивает руки, сливает воду из корыта в раковину, и огромная таинственная Светланина тень в зимней шапке с торчащим матерчатым ухом, то исчезая, то вновь появляясь, кружит по холодной стене.

— Ну хватит, наконец! — сердится Долли Максимовна.

Светлана швыряет тряпку куда-то в угол, садится на скамейку у стола рядом с Долли Максимовной, откладывает голову, зажмуривает глаза и произносит на выдохе с блаженной улыбкой:

— Все, Долли Максимовна! На сегодня все!..

Помаргивает коптилка, тянется к потолку тонкая струйка дыма от самокрутки, мерно поскрипывает маятник часов.

— Какое нынче было число? — спрашивает неожиданно Долли Максимовна.

— Двадцать шестое.

Долли Максимовна кладет руку Светлане на плечо.

— Вот и Новый год скоро! Новый! Новый! Новый год! — произносит она нараспев. — Прошлый год мы встречали с мужем в Парголове, у друзей. Подбросили сына соседке, а сами уехали в Парголово. Очень весело было, очень!

— А я никогда не встречала Новый год! —
тихо, не двигаясь, говорит Светлана.

— Ну, не может быть!

Светлана, оттопырив губы, качает головой...

— Правда-правда. В компании никогда. Только дома — с мамой, с бабушкой. Мама у меня больная, бабушка совсем старенькая, не бросать же их... А папа под Новый год всегда за кого-нибудь дежурил в больнице... Так вот и получалось!..

Светлана печально усмехается.

— Ужасно я подружкам своим завидовала, просто ужасно! Забежишь к ним на минуточку, а у них только и разговоров: кто куда приглашен, да кто с кем, да какое платье новое сшили, да на какой день в парикмахерской очередь заняли... Смешная была жизнь до войны!

— Всякая была жизнь! — медленно говорит Долли Максимовна и, негромко всхлипнув, сердито трет кулаком глаза.

Бьют часы — два часа ночи.

Воет и злится за оками, на улице, неугомонная декабрьская метель.

С отвратительным ревом пикирует на мост желтобрюхий с черными крестами на крыльях немецкий бомбардировщик. Трассирующая пулеметная очередь прошибает дорогу — взлетают к небу сизые фонтанчики снега.

Глухие бомбовые разрывы.

— Мимо! — кричит тонкий срывающийся голос. — Мимо!

Бомбы действительно, не задев моста, падают в реку, и черная вода с грохотом и шипением стремительно заливает взорванный лед.

— Улетел! — радостно восклицает Светлана, вскакивает и снова валится обратно в снег — это кто-то лежавший рядом с силой дернул ее за ногу.

— Спятила! Ложись!

— Так ведь улетел же! — говорит Светлана, прислушиваясь к затихающему гудению самолета.

— Не улетел, бестолочь, а разворачивается.

Сивоусый пожилой солдат, чуть приподнявшись на локте, заглядывает Светлане в лицо.

— Э-эх, деревня! В первый раз бомбят, что ли?

Все отчетливее, все ближе гул самолета. По льду реки, по снежной равнине, залитой ярким солнцем, проплывает зловещая распластанная тень. Гул мотора нарастает, переходит в оглушительный рев.

— Звук у него, у подлеца, отвратительный! — морщится сивоусый и грозит Светлане кулаком. — Прижмись! Прижмись, дуреха, маскируйся на местности.

— Что вы ругаетесь?! — обиженно ворчит Светлана.

И опять на мост, на дорогу, на скопление машин, застрявших у выезда на мост, обрушаются глухие бомбовые удары, щелкают

пулеметные очереди, грохочет взорванный лед, мерзко шипит вода.

И опять тонкий срывающийся голос кричит.

— Мимо!

Затихает в отдалении гул самолета.

Светлана скашивает глаза на сивоусого.

— А теперь улетел?

Сивоусый, отряхивая снег, садится.

— Сейчас прилетит, не прыгай! Последний заход делает. Я уж ихнюю повадочку, как «отче наш», изучил.

— А вы кто?!

Сивоусый, яростно растирает рукавицей побелевшее лицо, хитро подмигивает Светлане.

— Самый главный военный человек! Рядовой, чуешь?!

— Пехота?

— Пе-ехота! — передразнивает сивоусый и приосанивается. — Сапер!

— Ой, правда?

Светлана по краю кювета переползает поближе к сивоусому.

— Вы тоже сапер?

— Что значит — тоже? А еще кто?

— Один... один мой знакомый... Корнеев Игорь! Он... Я, правда, точно не знаю, но думаю, что он сапер.

— Пишет?

— Нет, не пишет.

— Ну, ничего, напишет! — с глубокой убежденностью говорит сивоусый. — Ты не тревожься! Мы когда отступаем, так у нас, у

саперов, жизнь — лучше не надо! Вполне хорошая жизнь! Ставь себе минку да чини переправы — только и делов! А вот когда мы наступать будем, тогда, конечно, держись! Как звать-то твоего, говоришь?

— Корнеев Игорь.

— Корнеев?! — с непередаваемой интонацией, так, словно он услышал имя родного брата, произносит сивоусый. — Рыжий?

— Нет, он брюнет.

— Ну, правильно — чернявый... Молодой?

— Молодой.

— Игорем звать, верно?

— Да.

— Ну, знаю я его, знаю! — смеется сивоусый и машет рукой. — Слыхал. Толковый парень.

Светлана, недоверчиво округлив глаза, смотрит в упор на сивоусого.

— Знаете? Правда, знаете? А где он?

На дороге неподалеку тонкий голос пропякано кричит:

— Воздух!

— Где он, скажите! Пожалуйста...

Сивоусый тычет Светлану в плечо.

— Хоронись!..

Светлана сползает в кювет.

Рев пикирующего бомбардировщика. Пулеметные очереди. Глухие бомбовые удары. Вспыхивает подожженный грузовик, и жаркое невысокое пламя в одно мгновение перекидывается на другие стоявшие рядом машины. С ноющим звоном оседают задетые раз-

рывом фугаски стропила моста. Рев самолета становится тише.

— Отбой.

И сразу же по всему снежному полу из дорожных кюветов и неглубоких овражков поднимаются сотни людей и бегут, чертыхаясь и отряхиваясь, к мосту, к горящим машинам.

Светлана садится, оглядывается на сивоусого.

— Где он, скажите!.. Ну скажите же!

Но сивоусый солдат молчит.

Он неподвижно лежит на спине, раскинув руки, и в синих, уже остекленевших глазах, отражается синее прозрачное небо.

Светлана возвращается домой. Она медленно поднимается на второй этаж, толкает входную дверь, и вдруг, едва не вскрикнув, замирает, потрясенная, на пороге.

В коридоре тихо, темно; все сотрудники редакции еще на работе. Двери и жилые комнаты притворены, и только одна дверь, именно та, что всегда все эти дни была на запоре, именно эта дверь сейчас приоткрыта, и из нее на пол коридора падает неяркая, косая полоска света.

Вскинув руки, почти в беспамятстве Светлана бежит к этой двери.

— Игорь?!

В маленькой комнате тишина.

Тикают часы. Горит настольная лампа, освещая заставленную книгами книжную полку, большой портрет Чехова над столом, лыжи и альпинистское снаряжение в углу,

кровать и на кровати, под шинелью, фигуру безмятежно спящего человека.

— Игорь! — шепотом повторяет Светлана, прислоняется к притолоке двери, смотрит, не отрываясь, на спящего. — Господи, когда ж ты вернулся, Игорь?!

Тишина. Спящий, почмокав губами, глубже зарывается головой в подушку.

Светлана — она ведь еще ни разу не была в этой комнате — с интересом и волнением осматривается. На письменном столе прислоненная к куску породы стоит чья-то фотография. Светлана осторожно, на носках, чтобы не потревожить спящего, подходит к столу, берет фотографию, разглядывает ее, улыбается — это она сама, Светлана, но только не в шапке-ушанке, не в прабабкиной кацавейке и стареньких валенках, а в светлом летнем платье, с растрепанной головой, с присущенными от ветра счастливыми глазами.

— Ну-с, встретили вы машину товарища Лаврентьева?..

Светлана, выронив фотографию, испуганно оборачивается.

Незнакомый человек, заспанный и небритый, хитровато посмеиваясь, сидит на кровати и смотрит на Светлану.

— Не удивляйтесь, я все про вас знаю! Это моя специальность — все про всех знать! Вас зовут Светлана, верно?

— Да! — в полной растерянности тихо отвечает Светлана.

Незнакомый человек натягивает сапоги, встает, щелкает каблуками.

— А моя фамилия Суздалев, честь имею представиться! Не сердитесь, что я самовольно, так сказать, захватил этот населенный пункт. Подергал замок, а он возьми да и отскочи... А то ерунда получается — все комнаты заняты, мне, бедному, даже голову некуда приклонить! Не сердитесь?

— Нет.

— Вот и отлично!

Суздалев расправляет под ремнем гимнастерку.

— А как дела с машиной товарища Лаврентьева? Капитан Зубарев очень тревожился, встретили вы ее или не встретили?

— Не встретила! — все еще в состоянии крайней растерянности отвечает Светлана. — Я ее ждала, ждала на шоссе. А она не пришла, может, в бомбежку попала, может, еще что случилось!

— Бывает!..

Суздалев поднимает с полу тяжелый, чем-то туго набитый вещевой мешок, взваливает его на плечи, дружески подмигивает Светлане.

— Слушайте, давайте-ка устроим для наших старичков детскую елку? А?! В программе: песни, хороводы и раздача подарков!

Он шикарным жестом протягивает Светлане руку.

— Вашу руку, Снегурочка!

Суздалев, очень довольный, сидит в зрительном зале на редакционном столе, болтает ногами, дымит огромной черной сигарой.

Вокруг толпятся весело возбужденные сотрудники редакции — благодарят, ахают, восхищаются.

— Мартель! — разглядывает Лапин этикетку на пузатой бутылке. — Черт побери, настоящий «Мартель»! Где ты его достал?

— В военторге.

— Ну, не ври, Славка, не ври! Откуда в военторге французский коньяк?

— Секретный фонд! — невозмутимо, посмеиваясь глазами, говорит Суздалев. — Для поощрения особо выдающихся личностей. Можешь спросить у военторговской Клавочки!..

— Ну, не ври, Славка! Я был у нее третьего дня, и она...

Суздалев презрительно перебивает:

— Я сказал: для особо выдающихся личностей! А ты кто такой! Интеллигентик несчастный?!

— И шоколад бельгийский тоже из военторга? — спрашивает Долли Максимовна.

— Разумеется...

— И духи? — спрашивает Зиночка.

— И духи...

— Вы самый отъявленный лгун, капитан Суздалев! — величественно заявляет Долли Максимовна и, распечатав плитку шоколада, пускает ее по рукам.

Суздалев спрыгивает на пол, встрихивает опустошенным вещевым мешком.

— Все, братцы! Остался только трубочный табак — для старика... Где Петерсон?

— На сцене.

Суздалев поправляет гимнастерку, приглаживает волосы — собирается идти на сцену, но его останавливает Зубарев.

— Минутку, капитан!

Зубарев торжественно выходит на середину зала, поднимает руку.

— Товарищи, прошу внимания! Я, конечно, не равняю себя с капитаном Суздалевым...

— Какая скромность! — фыркает Долли Максимовна.

Зубарев, бросив на Долли Максимовну уничтожающий взгляд, продолжает:

— Но и я, товарищи, тоже имею сообщить вам кое-что приятное! Есть такое решение — тридцать первого декабря для сотрудников редакции устроить товарищеский ужин и встречу Нового года...

Зиночка хлопает в ладоши.

— Ой, как хорошо-то!

Зубарев снисходительно улыбается.

— Сейчас я раздам пригласительные билеты...

Он вытаскивает из кармана пачку разноцветных отпечатанных в типографии пригласительных билетов и большой разграфленный лист бумаги.

— Получайте, товарищи, и расписывайтесь... Прошу!..

Веселое оживление и толкотня у стола.

Последней получает билет Долли Максимовна. Она ставит галочку против своей фамилии в списке, оглядывается, встречается

глазами со Светланой, которая стоит поодаль возле рояля, машет рукой:

— Идите, Светик, отмечайтесь!..

Светлана подходит.

Ей очень хочется получить пригласительный билет на встречу Нового года, так хочется, что она даже не в состоянии этого скрыть, и она подходит к столу и робко улыбается Зубареву и уже берет карандаш, чтобы расписаться, но Зубарев большой пухлой ладонью накрывает список, негромко и сердито говорит:

— Я ведь, по-моему, Ивашова, русским языком объяснил — вечер и ужин только для сотрудников редакции!

Светлана растерянно отступает.

— Я... извините... Я не поняла... То есть, я хочу сказать... Да, конечно... вы совершенно правы... Извините!

С застывшей на лице, нелепой улыбкой она медленно идет к выходу, останавливается на секунду, словно собирается еще что-то сказать, ничего не говорит, поворачивается, шагает через порог и резко роняет за собой дверь.

Неловкое молчание.

— Стыдно, Зубарев! — медленно произносит Долли Максимовна. — Ах, как стыдно!

Зубарев, не поднимая глаз, угрюмо и раздраженно усмехается.

— А я повторяю еще раз — вечер только для сотрудников редакции. Каждый вносит часть своего довольствия, так что всякие там посторонние...

— Посторонние?! — перебивает его, внезапно срывааясь на крик, обычно краткая Зиночка.— Посторонние, да? А когда она исподнее ваше стирала, она не была посторонней?! У нее варежек нет, а она ледяную воду таскает, дрова колет, полы моет... И если дело в довольствии, так я дам за нее, пожалуйста, не беспокойтесь!

— Ах, как стыдно! — повторяет Долли Максимовна.

Зубарев дрожащими пальцами перебирает пригласительные билеты.

— Скажите, Зубарев, — как-то чересчур спокойно спрашивает Суздалев, — а если я захочу прийти на этот бал не один? Могу я, например, привести на вечер свою даму?.. Разрешается это?

Зубарев кривит рот и, вкладывая в свои слова всю меру доступной ему язвительности, говорит:

— Вы любимец общества, капитан Суздалев, вам разрешается все!

Суздалев с преувеличенной учтивостью расшаркивается, прижимает руку к сердцу.

— Вы очень любезны, капитан Зубарев! И я воспользуюсь вашей любезностью: я приду с дамой!..

Поздний вечер.

В пустом зале на месте Зиночки за пишущей машинкой сидит хмурый и взъерошенный Суздалев, курит, стучит одним пальцем по клавишам машинки, что-то невнятно бубнит себе под нос.

Отворяется дверь. Входит Светлана.

— Кто там еще?! — сердито, не оборачиваясь, спрашивает Суздалев.

— Это я, Светлана... Я сейчас уйду... Я только хочу поблагодарить вас, Вячеслав Павлович, за то, что вы пригласили меня... Я очень вам благодарна!..

— Ну и прекрасно! — небрежно и равнодушно говорит Суздалев. — Мы рады, что вы рады, привет!

И, отстукивая одним пальцем какую-то фразу, он довольно бестактно добавляет:

— Просто мне хотелось вставить фитиль этому румяному гусю, этому баловню АХО и вторых эшелонов!..

Он с треском переводит каретку, водит пальцем над клавиатурой машинки, разыскивая пропавшую букву, чертыхается:

— Куда это чертово «и краткое» подевалось?!

Светлана улыбается.

— Хотите, я напечатаю, Вячеслав Павлович? А то ж это очень долго — одним пальцем... Я папе все его доклады и статьи печатала! Продиктуйте мне... Хотите?

— Да?! — с сомнением хмурится Суздалев. — Ну, что ж, ладно, попробуем!

Он встает и уступает Светлане место за машинкой.

Светлана устраивается поудобнее, закладывает в машинку новый лист бумаги, ждет.

Суздалев, жадно затягивается папироской, делает, размышая, несколько шагов по залу,

бормочет, бросает рассеянный взгляд на Светлану.

— Готовы?

— Готова.

Еще секунду подумав, Суздалев начинает диктовать:

— «В сумерки над полоской ничьей земли вспыхнул зеленоватый свет ракеты»... Я не быстро?

— Нет-нет, ничего.

Суздалев диктует:

— «Ничья земля, восклицательный знак... Нет, запятая, неправда, запятая, это наша земля, занятая, товарищ, запятая, это наша с тобой родная земля, восклицательный знак!..»

Стучит пишущая машинка.

Далекие московские позывные.

Тикание метронома.

— Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

В зале за роялем с зажатой в углу рта погасшей папиросой сидит Суздалев, перебирает клавиши.

Сияет на сцене украшенная самодельными игрушками невысокая пушистая елочка. Весело трещат дрова в печке-времянке. Из радиорепродуктора доносится постукивание метронома. Во главе редакционного стола, установленного сейчас бутылками, стаканами и тарелками, в одиночестве, очень чопорный

и подтянутый, сидит полковник Петерсон, поглядывает изредка на старинные — луковицей — карманные часы, которые он по давней штабной привычке положил перед собой на стол.

А возле рояля оживленным кружком стоят сотрудники редакции: здесь и Лапин, и Сотников, и Киселев с приглашенной им дамой бодисткой Ксенией Шаровой — крупной, полнолицей, в щегольских сапожках на толстых ногах, в гимнастерке, которая едва не лопается на груди, с бумажной гвоздикой в пшеничных волосах.

Облокотившись на крышку рояля, Ксения смотрит в упор на Суздалева и напевает, слегка фальшивя:

— Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла...

Она передергивает плечами.

— Надоела «Катюша», все, хватит! Скажите, капитан, а вы «Брызги шампанского» можете?

Суздалев ухмыляется:

— Я все могу!

— Ой ли? — хохочет, запрокидывая голову Ксения. — Ой ли, капитан? Надо будет про это у Клавочки военторговской спросить... Мы ведь, капитан, не зря на связи работаем!..

Входят Долли Максимовна и сияющая Зиночка.

— А вот и мы, здравствуйте!

— Дамы, дамы явились! — нараспев восклицает Ксения.

— Вы что ж это, кавалеры, дам не встре-
чаете?! Привет дамам! Как ваше ничего? —
она, весело пританцовывая, бросается к вновь
прибывшим, здоровается, пристрастно огля-
дывает Зиночку, всплескивает руками. — Ай,
да Фомичева! Фу-ты, нуты, корочки модель-
ные! А мы в сапожках! — она снова хо-
чет. — Нам в сапожках способнее... солдатское
дело — такая работа!..

Петерсон досадливо усмехается, произносит
в пространство:

— Жанна д'Арк.

Киселев таинственно наклоняется к Сузда-
леву.

— Слушай, Вячеслав, это не по-товари-
щески!

— Что именно? Не понимаю! — сухо гово-
рит Суздалев, перебирая клавиши рояля.

— Понимаешь отлично! — злится Кисе-
лев. — У тебя своя дама, у меня своя. Ксе-
нию Шарову я пригласил, зачем же ты мне
дорогу переходишь?

Стук метронома становится отчетливее и
громче.

Петерсон поглядывает на часы. Зубарев
машет рукой:

— Товарищи, прошу к столу!

Суздалев поднимается, хлопает Киселева
по плечу.

— Не горячитесь, Аркаша! Изживай, бра-
тец, собственнические инстинкты! Тем более
что моя дама, судя по всему...

Он умолкает на полуслове. На лице его
появляется странное выражение — это и

крайняя степень изумления, и насмешливая
растерянность, и откровенное восхищение.

В дверях зала стоит Светлана.

— Это кто, а? — выкатывает глаза майор
Сотник.

— Ого! — говорит Зубарев.

— Черт возьми! — говорит Суздалев и
свистит сквозь зубы.

Светлану действительно трудно узнать. Она
надела белое вечернее платье, туфельки на
высоких каблуках, сняла свою неизменную
шапку-ушанку, и, хотя легкие, светлые, еще
короткие волосы делают ее похожей на маль-
чишку, есть во всем ее облике, в улыбке, в
испуганных счастливых глазах что-то необы-
чайно притягательно женственное и прекрас-
ное.

Она стоит в дверях зала и улыбается. И
все молча смотрят на нее. И на всех лицах,
как и на лице Суздалева, то же удивительное
сочетание восхищения, изумления, растерян-
ности.

— Добрый вечер! — очень тихо говорит
Светлана.

Но все молчат. Стучит метроном. Все мол-
чат. И молчание это длится долго, оно как
бы становится все гуще, все плотнее, все на-
пряженнее, и уже не очень понятно, чего же
больше в этом молчании — одобритального
дружелюбия или готового вот-вот прорвать-
ся возмущения.

И в ту секунду, когда сползает улыбка с
лица Светланы и подбоченивается с явным
желанием ринуться в бой Ксения Шарова,

раздается негромкий, внятный голос полковника Петерсона:

— Добрый вечер, Светлана Андреевна!

Привстав, он берется узкой сухой рукой за спинку стоящего рядом стула.

— Пожалуйста, сюда, окажите мне честь!

И кажется, что все только и ждали именно этих слов, чтобы сразу же с облегчением засмеяться, заговорить шумно и бестолково, задвигать, рассаживаясь, стульями, загреметь тарелками.

...Светлана сидит во главе стола рядом с полковником Петерсоном, оглядывается — ищет глазами Суздалева.

— Разрешите?

Важный, величественно-любезный садится по правую руку от Светланы капитан Зубарев, произносит медовыми голосом:

— Не возражаете, я надеюсь? — и немедленно, не ожидая ответа, принимается самым деятельным образом ухаживать за Светланой — подвигает поближе стул, наливает в граненый стакан вино, накладывает на тарелку закуску. — Красненького? А может, беленького?! Или беленькое потом? Ладно, ладно... Колбаски?..

Онемев от ярости, скав кулаки, стоит у рояля покинутый всеми Суздалев, смотрит на Светлану и Зубарева, смотрит пристально, не мигая, точно гипнотизируя.

— К нам, капитан, к нам! — усиленно кивает ему из-за стола Ксения Шарова.

Суздалев не двигается.

Умолкает шум метронома.

И в наступившей внезапно тишине издалека, из другого мира, доносится глуховатый автомобильный гудок.

— Москва!

Бьют часы в Москве над заснеженной Красной площадью, на Спасской башне Кремля.

Полковник Петерсон встает. И следом за ним со стаканом в руках поднимаются все остальные.

— С новым годом товарищи! — тихо говорит Петерсон. — Выпьем за Москву, и за победу, и за всех наших близких!..

Шевелит губами, без слов, неподвижно глядя в одну точку, Долли Максимовна.

Еле сдерживает слезы Зиночка.

— Вот мы сидим с вами за этим красивым столом! — продолжает Петерсон. — Можно подумать, что нет никакой войны. Но мы-то знаем, что она здесь, она совсем близко, она рядом. И не только на земле, на воде и в небе, она еще и в сердце у каждого из нас! И может быть, важнее всего, чтобы в день, когда мы победим, не осталась в наших сердцах ни единой капли яда войны, ни единой капли...

Он подносит стакан к губам, улыбается.

— Вот как не останется ни капли в этом стакане!..

Гремит вальс.

Суздалев снова сидит за роялем и осатанело колотит по клавишам. Кружатся пары — Зиночка танцует с Лалиным, Ксения Шарова — с Киселевым, Светлана — с Зубаревым.

За спиной Суздалева стоит пьяненький майор Сотник, жарко дышит Суздалеву в затылок, просит.

— Ну, спойте, капитан... ну, я вас прошу... лично прошу... Ту, про нас... Ну, спойте, пожалуйста!..

Запыхавшись, останавливаются у рояля Зиничка и Лапин, присоединяются к Сотнику.

— Спой, Слава!

Суздалев с каменным лицом продолжает играть.

— Ну-ка, дайте, капитан, хорошенкую! — говорит Ксения Шарова, кокетливо обмахивается платочком и вздыхает. — Фу, вспотела!..

Суздалев играет.

— Спойте, Вячеслав Павлович, пожалуйста!

Это негромко говорит Светлана, и Суздалев мгновенно перестает играть, откидывается на спинку стула.

— Что спеть? — спрашивает он, помолчав.

— Ту, про нас! — просит Сотник.

Суздалев, сдвинув брови, берет несколько громких маршеобразных аккордов, говорит нараспев:

— Жил да был репортер,
Фронтовой репортер...

Он улыбается, поет:

На танке, в самолете, в землянке, в блиндаже,
Куда вы ни придет, до вас он был уже.
Еще не взвились флаги над деревушкой Эн,
А он уж на бумаге взял триста немцев в
плен!..

Хор подхватывает:

И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная звезда».

Да, «Красная звезда!»

Суздалев подмигивает Ксении.

В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у «Бодо» контакта
Всю ночь с Москвой нет...

— Это точно! — говорит Ксения.

Суздалев поет, загадочно понизив голос:

И он, чтоб в путь неблизкий
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой
Налаживал контакт!

— Ай, капитан! — хохочет Ксения.

Хор подхватывает:

Чтоб вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная звезда».

Да, «Красная звезда!»

Суздалев поет:

Степные ветры дули,
И немец бил в упор,
И пал сраженный пулей
Веселый репортер!

Но шесть последних строчек,
Давясь от горьких слез,
Его товарищ летчик
Редактору привез!..

И опять вступает хор:

И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

Хор умолкает, и только одинокий тонкий
голос полковника Петерсона медленно повторяет последние строчки:

«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

— Да-а-а! — протяжно говорит Ксения Шарова и шмыгает носом. — Грустная песня!.. Нет, как хотите, а я лучше обожаю пролюбовь!..

Суздалев решительно поднимается и почти насилием усаживает Лапина на свое место.

— Играй!

Потом он подходит к Светлане, останавливается перед ней, щелкает каблуками.

— Разрешите пригласить вас, Светлана Андреевна?

— Виноват, виноват, Суздалев! — вмешивается недовольно Зубарев. — Следующий танец обещан мне.

Суздалев дерзко щурится.

— А я приглашаю Светлану Андреевну не на танец! Вам ясно? Вот так!

Он берет Светлану под руку и с довольной ухмылкой направляется к дверям.

Темно.

И в темноте слышен испуганный и злой голос Светланы:

— Зажгите свет!

— Ну зачем?

— Зажгите свет, Вячеслав Павлович!

Вспыхивает после паузы настольная лампа: зеленоватый неяркий луч освещает портрет Чехова над столом, книжную полку, заполненную книгами, лыжи и альпинистское снаряжение в углу.

Светлана, обхватив плечи руками и чуть выставив вперед локти, сидит на краешке стула, смотрит исподлобья на Суздалева.

— Вот зачем вы пригласили меня?!

Она хочет встать, но Суздалев рывком опускается перед ней на одно колено, говорит, задыхаясь:

— Подожди... подожди... Ты ничего не понимаешь... Все не так просто! — он встрихивает растрепанной головой. — Ах, черт, ты не сердись... Ты пойми... я вернулся из кромешного ада, из крови, из грязи, из смерти... И вдруг — ты!

Он осторожно берет Светлану руку, сжимает ее в ладонях.

— Чудо! Старик сказал верно — нам война дала передышку, может быть, ненадолго, на несколько дней или даже часов. И вот в

этом диком, спятившем с ума мире мы с тобой вдвоем — ты и я! И кто знает, будет ли еще такая минута! И встретимся ли мы снова?.. Ты не прячь от меня глаза, ты гляди на меня!..

С улицы, издалека, доносится глухое, словно разбуженное ворчание дальнобойных орудий.

— Слышишь? — с непонятной радостью говорит Суздалев. — Вот она, война! И мы ее не боимся. Потому что мы вдвоем — ты и я... И нам хорошо!..

— Нет! Да нет же, боже мой, нет, я вам говорю!..

Стиснув зубы, каким-то последним усилием Светлана вырывается из рук Суздалева, встает так быстро и резко, что Суздалев, не удержавшись, садится на пол.

— Мне плохо с вами, Вячеслав Павлович, — шепотом произносит Светлана. — Очень плохо! Вот вы говорили всякие слова... и в словах этих было предательство! Да-да, именно предательство, они ведь предназначены другой женщине, вовсе не мне... И для другой, наверное, они были бы правдой... Но вам казалось, что если вы солжете, то и я соглу, и я предам...

Она в бессильной горести сжимает руки.

— Ах, как я радовалась сегодня нашему вечеру, как я ждала его, как я была вам благодарна!..

С улицы снова доносится громыхание дальнобойных орудий, и чей-то голос надсадно кричит:

— Эй, там, на втором этаже, свет! Светлана, шагнув через порог в коридор, бросает с горькой усмешкой:

— Ну вот, теперь вы можете погасить лампу! С новым годом, Вячеслав Павлович!..

Визжит и захлебывается в неумелых руках пила, ерзает и подпрыгивает в козлах покрытое инеем, обледеневшее бревно.

Светлана и Зиночка во дворе возле дома под старой береской пилят дрова — пилят сосредоточенно, ожесточенно, приговаривают:

— Раз, два, к тебе — ко мне, раз, два!..

Жмурясь от яркого солнца, выходит на крыльце Суздалев, в полушибке, перепоясанном ремнями, в ватных штанах, в валенках, в теплой шапке.

— Капитан, — окликает его Зиночка, — далеко ли собрались?! Уходите?

— Далеко, — говорит Суздалев. — Ухожу.

Светлана стоит к Суздалеву спиной, сжимает в побелевших пальцах ручку пилы, не оборачивается.

Зиночка через голову Светланы продолжает допытываться:

— Как же так? Только вернулись, и опять?! А говорили, две недели отдыхать будете!

Суздалев усмехается.

— Человек предполагает, а начальство располагает.

— «Начальство»! — передразнивает Зиночка. — Знаю я вас, вы сами вызвались!

— Прощайте! — негромко говорит Суздалев.

— Прощайте! — кивает Зиночка и, сделав Светлане «страшные глаза», сердито шипит. — Ты чего стоишь, как бесчувственная? Человек прощается, а ты...

Светлана медленно оборачивается, встречается с глазами Суздалева, говорит:

— Счастливый путь, Вячеслав Павлович! Возвращайтесь поскорее!

Молчание.

Доносятся из дома громкие голоса, дребезжат телефонные звонки, стучат печатные машины в подвале.

Суздалев жалко улыбается, делает ртом какое-то странное движение, точно ему не хватает воздуха, шутовским жестом вскидывает руку.

— Салют!

Он сбегает с крыльца и уже собирается перемахнуть через обочину на дорогу, но вдруг останавливается, круто поворачивает назад, быстро и решительно подходит к Светлане, тихо говорит:

— Простите меня, ладно?! Постарайтесь не очень уж худо обо мне думать, простите!

— Что вы, Вячеслав Павлович! — совершенно искренне говорит Светлана. — Спасибо вам за все. До свидания!

Помолчав и покусав потрескавшиеся на морозе губы, она спрашивает:

— Вы на машине? Или пешком?
Суздалев смеется.

— Выйду на шоссе, голосну, кто-нибудь меня и подбросит. А нет — прогуляюсь.

Светлана оглядывается на Зиночку, и Зиночка с понимающе-невинным лицом небрежно говорит:

— Вы бы, товарищ Ивашова, проводили б капитана, что ж ему одному-то гулять?!

И, не выдержав, очень довольная, она хитро и весело подмигивает Светлане.

— Иди, иди, Светик, иди!

И вот они шагают рядом, вдвоем, Светлана и Суздалев, по заснеженному пустынному шоссе.

Посвистывает ветер, завивает сизые дымки над сугробами. На небо набежали откуда-то тучи, закрыли солнце, тяжело и низко нависли над землей.

Светлана рассказывает:

— А осенью он должен был защищать диплом и приехать за мной, так мы условились! А потом, вдруг, это в конце мая было, я получаю от него письмо, что он... ну, в общем, что он больше не может без меня, и что у него случилась какая-то ужасная беда, и что я должна приехать и помочь ему, и все такое... вот как было..

— Стой! — говорит неожиданно Суздалев и останавливается. Они стоят на развилике дорог. Шоссе все так же пустынно — не видно ни одной машины, ни одного встречного.

Суздалев, отвернув рукав полушубка, смотрит на часы, свистит.

— Ого! Четырнадцать двадцать пять.

А мы вышли в двенадцать! Вот так прогулочка! Как же вы домой доберетесь?

— Ничего, дойду.

Суздалев смотрит на Светлану, отводит глаза, закидывает голову к небу, глухо, помедлив, говорит:

— Снег будет.

— Да.

— Спасибо, что проводили.

— Не за что.

— А машина нам так и не встретилась!

— Нет, не встретилась.

Суздалев лезет в карман, достает маленький завернутый в замшу трофейный пистолет, протягивает Светлане:

— Возьмите. Трофейный «Вальтер». Игрушка, конечно, но в случае чего может и пригодиться.

Светлана с интересом и любопытством разглядывает пистолет.

— Забавный какой! Я, наверное, и выпустить-то из него не сумею — это так трудно...

— Трудно? — со смешком переспрашивает Суздалев и снова, уже не таясь, смотрит на Светлану. — Поверьте мне, Светлана, не стрелять труднее, чем стрелять! Много труднее!

И внезапно, словно рассердившись на себя за что-то, он коротко, не подавая руки, кланяется:

— До свидания.

— До свидания! — тихо говорит Светлана и облизывает языком губы. — Простите меня, Вячеслав Павлович!

И теперь уже Суздалев с искренним удивлением отвечает:

— Что вы, Светлана?! Спасибо вам за все! До свидания!

Он резко отворачивается.

— Идите! И не оглядывайтесь, ладно?

— Ладно! — соглашается Светлана, печально улыбаясь и уходит.

Она идет размеренным шагом, чуть наклонившись всем телом навстречу ветру, и, как обещала Суздалеву, ни разу, ни единого разу не оборачивается назад.

Смеркается.

Светлана устало подходит к дому «На семи ветрах», притоптывая валенками, поднимается на крыльце. Она так глубоко и тяжко о чем-то задумалась, что даже не заметила в первое мгновение, какой непонятной тишиной встречает ее дом.

И лишь в полутемном клубном фойе ей вдруг сразу бросаются в глаза такие уже знакомые и всегда внезапные приметы поспешного бегства — брошенные вещи,битое стекло, голый электрический шнур с пустым патроном и обрывки бумаги, которыми усеян цементный пол.

— Товарищи! — испуганно зовет Светлана. — Долли Максимовна!.. Кто-нибудь!.. Зиничка!..

Никто не откликается. Тишина. Тонко дребежжит разбитое окно.

— Товарищи!..
Тишина.

Одиноко стоит на разоренной сцене бутафорское кресло с гнутыми ножками и позолоченными подлокотниками.

Светлана растерянно озирается.

Со двора доносится негромкое урчание мотора.

Светлана стремительно выбегает в сени и чуть не падает в объятия Зубарева.

— Юрий Петрович, ох!..

— Куда вы к черту пропали? — грубо набрасывается на нее Зубарев. — Жди вас тут! Собирайтесь, живо!

Но Светлана и не думает сейчас обижаться.

— Юрий Петрович, миленький, я так напугалась! А где все?

Зубарев, все еще хмурясь, строго говорит:

— Пришел приказ — срочно перебазироваться. Все уехали. А я жду вас... Спасибо, если старик мне выговора не влепит! Собирайтесь, Светлана Андреевна!

Светлана смотрит на Зубарева, на его взъятованное лицо и прыгающие губы, улыбается, привстав на носки, и спокойно крепко целует Зубарева в румяную щеку.

— Нет, Юрий Петрович! Все хорошо, все просто замечательно, вы поезжайте! И передайте привет всем!.. Всем-всем!

— А вы?

— А я здесь останусь!

— Что за чушь? — мгновенно по своей обычной привычке взрывается Зубарев. — Идиотство! Форменное идиотство! Да вы понимаете, что означает приказ перебазиро-

ваться?! Немец попер! А если он сюда явится?!

— Сюда?!

Светлана оглядывается, точно желая в последний раз проверить надежность и крепость этих стен, принявших ее под свою защиту, медленно качает головой.

— Нет, сюда немцы не явятся! Не-ет!

И такой покой, такая несокрушимая уверенность в ее голосе, что Зубареву только и остается, что ворчливо повторить:

— Идиотство!

Переступив с ноги на ногу, скривившись, он как-то неловко и виновато сует Светлане в руку кожаные, на белом меху, перчатки.

— Ну, тогда... возьмите... у вас же нет варежек — возьмите!..

Светлана одиноко стоит на крыльце, скрестив на груди иззябшие руки. Из кармана бархатной кацавейки торчат кожаные перчатки.

Сумерки. Морозный туман.

Наконец пошел снег. На пустынное шоссе неслышно и невесомо падают белые медленные хлопья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, четвертого марта, на энском направлении наши войска продолжали вести

тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника...

Укрепленный над входом в дом, рядом с надписью «Добро пожаловать» полощется и постреливает на ледяном мартовском ветру белый флаг, пересеченный красным крестом.

Сестры в белых халатах и затейливых белых косынках застилают белыми простынями низкие больничные топчаны, расставленные в четыре ряда в зрительном зале. И на сцене тоже стоят такие же топчаны. И в фойе. Фойе, впрочем, перегорожено на две половины глухой, сплошной из нескольких простынь занавеской, и оттуда, из-за этой занавески, с той половины, что скрыта от посторонних глаз, доносятся бульканье и шипение воды в стерилизаторе, постукивание педали рукомойника, позвякивание инструмента, раздраженные голоса электриков, подвешивающих лампу-софит над операционным столом.

В дежурке — в бывшем помещении сберкассы и почты — белыми марлевыми салфетками занавешены окна, на полках вдоль стен стоят бутыли и бутылочки, пакетики, коробки, фарфоровые банки с загадочными латинскими надписями и высится на крыше несгорающего сейфа гора деревянных лотков с ячейками для анализов.

Во дворе — белая на белом снегу растянутая на кольях под старой березой палатка, предназначенная для перевязывания и предварительной санобработки. И над этой палаткой тоже полощется неширокий белый флаг, пересеченный красным крестом.

...Утром, днем, вечером, ночью — в любое время суток, в любую погоду непрерывной скорбной чередой поступают в госпиталь раненые.

Их привозят в кузовах покареженные грузовики, где они лежат навалом, как дрова; их приносят на руках и на самодельных носятках; они приходят сами, ковыляя по раскисшей, в желтых подтеках бензина и конской мочи, дороге.

Здесь, в походном армейском госпитале, они задерживаются недолго — некоторые, отышавшись и отлежавшись, возвращаются в строй, других (и таких большинство) после операции и короткого лечения отправляют в тыловые эвакогоспитали, а некоторых (и их тоже немало) ранним утром разбитые санитарные машины отвозят в братские могилы на старое городское кладбище.

Не забывайте этих могил! Не забывайте о них ни в горе, ни в радости!

На деревянном столбике, на фанерной дощечке, наспех замусоленным чернильным карандашом криво и не всегда грамотно выведены фамилии павших — и так разнятся друг от друга даты рождения, и так трагически одинаковы даты смерти!

А есть могилы, на которых и вовсе ничего не написано — просто сияет, как ни сушили ее степные ветры и сыпучие пески, как ни хлестали ливни, как ни заметали метели, вечно сияет пятиконечная красноармейская звезда и вечным сном под этой вечной звездой

спит безвестный солдат — слуга народа, защитник Отечества.

Не забывайте этих могил! Не бойтесь памяти о войне! Только слюнтяи и обыватели, только предавшие прошлое страшатся памяти о ней! Не забывайте же этих могил!..

Вечер. Дежурка.

Сестры — и среди них Светлана — в большой бадье моют медицинские «утки» и стеклянные консервные банки, которые на всех фронтах, во всех госпиталях и санбатах бесхитростно используются в качестве «уток».

В стороне за перегородкой пожилая аптекарша Марья Петровна что-то записывает в толстую конторскую книгу.

Курносая синеглазая сестра Муська Кайгородская вздыхает:

— Ну вот, еще день прошел!

— Странно!.. — задумчиво говорит Светлана. — У меня как-то все спуталось — дни, ночи, недели... Скоро месяц, как вы тут, а мне порой кажется, что вы только вчера приехали!

— Ох, и надоели же эти «утки», — с триумфом говорит Муська. — Я на гражданке прямо ужас какая была брезгливая, а теперь...

Светлана серьезно говорит:

— А я до войны мышью боялась.

Девушки смеются.

Высокая, с толстой рыжей косой, которая то и дело выбивается из-под косынки, волчанка Вера Смирнова спрашивает:

— А у тебя, Света, есть кто на фронте?

— Есть.

— Кто?

— Жених.

И все сестры разом поднимают глаза на Светлану.

— Ну?! А где он?

— Не знаю.

— А фото его имеешь?

— Нет.

— То-то я гляжу, — говорит Муська, — как новеньких привозят, так ты сама не своя! Все ждешь?

Светлана уклончиво пожимает плечами.

— Нет, я, не жду, конечно. Но ведь может же так случиться, что и он тоже...

Она морщится, подыскивая слово.

Но Муська, уже поглощенная какой-то новой мыслью, оглянувшись на Марью Петровну и понизив голос, захлебывается быстрым и веселым шепотом:

— Ой, девочки! Девочки! Вы заметили, какого лейтенанта сегодня доставили?! Артиллерист! Ох, девочки! Бровки темные, глазки карие, такой весь аккуратненький! Я уж ему подморгнула — поправляйся, дескать, Сенечка, есть о чём поговорить!

Вера сердито кривит полные губы.

— Муська ты, Муська! И в кого только ты уродилась такая развратная?

— «Развратная»! — передразнивает Муська и снова принимается тереть стеклянную банку. — Однова живем, Верочка! Чего теряться! Война все спишет!

— Глупости!

— Ничего не глупости, правильно она говорит! — вмешивается неожиданно худенькая молчаливая и не очень уж молодая Тоня Бойкова. — Ты возьми хоть к примеру у нас, в поселке... У нас и до войны девчат против парней втрое было. Вот тебе и глупости! Наслушалась я, как старшие мои сестры по ночам плачут. А с войны приедем, кто нам достанется, а?! Подумала ты об этом?! А ведь счастья-то каждой хочется, счастья каждой вынь да положь!

— Но как же можно без любви, Тоня?!

Тоня усмехается:

— А зачем же без любви? Ты люби!

Муська леноночко притопывает уродливым керзовым сапогом:

— Полюбила лейтенанта,
Ремешок через плечо,
Получает тыщу двести
И целует горячо...

— Тихо! — обрывает ее Тоня и показывает глазами на дверь. — Наталья Михайловна!..

В дежурку входит главный врач и хирург Наталья Михайловна Гусева. Ей лет тридцать, не больше. Она очень красива, но от всего ее облика, от тонкого смуглого лица, от зеленых никогда не улыбающихся каких-то странно пустых глаз, от больших суховатых рук, даже от ее ослепительно белого халата остается раздражающее почему-то ощущение холодной и высокомерной стерильности.

— Добрый вечер! — говорит Наталья Михайловна.

— Добрый вечер, товарищ главврач! — нестройно, вразнобой отвечают сестры.

Наталья Михайловна внимательно и равнодушно оглядывает дежурку и сестер, произносит медленно, не повышая голоса:

— Я сегодня слышала, как кто-то из сестер назвал доктора Образцова Шуриком! Если это повторится...

Не договорив, она кивает, берется за ручку двери.

— Утренние операции я начну в шесть. Смирнова и Кайгородская, вы со мной.

— А у меня, Наталья Михайловна, ночные дежурство! — недовольно хмурится Муська. — В первой палате я дежурю до восьми.

— Ничего, кто-нибудь вас подменит!

— Я могу подменить! — быстро и охотно говорит Светлана.

— Вот и отлично.

Наталья Михайловна уходит.

Муська, помедлив и подождав, пока в сениях хлопнет дверь, говорит свистящим шепотом:

— Прямо как неживая, честное слово. Чучело! Ей с гражданки чуть не каждый день письма приходят. А она их назад отсылает!..

— Красивая она! — задумчиво произносит Светлана.

Тоня в сердцах шваркает мокре полотенце на подоконник.

— Красивая-то красивая, да кому с ее красоты радость?

В сенях раздаются торопливые шаги. Отворяется дверь дежурки, просовывается девичья голова в светлых кудряшках, в сбившейся на сторону косынке.

— Девочки, кто в первой заступает?! Идите принимайте дежурство, сил моих больше нет!

— Иду! — говорит Светлана.

Ночь.

Первая палата — зрительный зал — погружена во тьму. Только слабо светится синий огонек ночника на маленьком столике в углу. Возле столика на низком табурете сидит Светлана.

Раненые спят. Они спят беспокойно, стонут и разговаривают во сне, вспоминают близких и родных, продолжают ратные свои дела — поднимаются в атаку, обнаруживают неприятельские танки, корректируют огонь, ссорятся со старшинами из-за недополученного пайка:

— Мне табачку не выдали... Почему мне, старшина, табачку на выдали?! Почему мне...

— А-а-а! — тянет кто-то протяжно дурным голосом, на мгновение затихает, точно набираясь сил, и снова затягивает на одной ноте: — А-а-а!..

Время от времени Светлана встает, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, проходит по рядам между койками — где поднимет упавшую на пол подушку, где поправит сбившиеся простыни, где подаст стеклянную банку «утку», а где просто тихо-тихо, чуть

слышно скажет несколько ласковых ободряющих слов.

За окном начинает синеть, близится утро.

— Мамаша! — зовет кто-то громким шепотом. — А, мамаша!

Светлана оборачивается.

Пожилой раненый, с небритой седой щетиной, в лубках, с забинтованной головой, пре-возмогая боль, улыбается Светлане одними глазами.

— Никак, мамаша, светает?

— Скоро будет светать, — шепотом отвечает Светлана.

— Хорошо, — с удовольствием говорит раненый. — Утром-то уж я не помру! Сводки не передавали еще?

— Нет.

Раненый задумчиво поджимает губы.

— Что там со вторым фронтом, интересно бы знать?! Что они там, мамаша, со вторым фронтом тянут?!

Тишина.

Светлана медленно обходит палату, поднимает шторы на окнах.

Серый без солнца рассвет.

Светлана гасит ночник, садится к столу, раскрывает книгу записей дежурств, вытаскивает из кармашка халата самопищущую ручку. Подумав и что-то пошептав про себя, Светлана склоняется над книгой записей, и в эту секунду начинается воздушный налет.

Он начинается внезапно — не было слышно ни гудения самолетов, ни встревоженных

криков «Воздух!», ни торопливой беготни. В предрассветной пепельной тишине раздается вдруг режущий сердце, все нарастающий свист и удар, гулкий и грозный удар, от которого сотрясается земля, сыплются, дребезжа, стекла, срываются с мест, как на море в шторм, больничные топчаны, и весь дом «На семи ветрах» как бы приседает, крякнув, на корточки.

И только теперь со двора кто-то кричит запоздало:

— Воздух!!!

И уже нет (и кажется, что и не было никогда) покоя, тишины, утра, строгого больничного порядка — раненые, ничего не соображая спросонья, вскакивают со своих коек, грохочут костылями, бегут, волоча за собой простыни и бинты, спотыкаются, падают, припаиваются к окнам и к двери, залезают под койки, а те, что не могут подняться, вопят, выкатив остекленевшие глаза:

— А-а-а!!!

— Братцы, пропадаем! Что ж это, братцы?!

— Пропадаем, а-а-а!

Пожилой раненый с забинтованной головой — тот, что интересовался вторым фронтом, — безуспешно пытается утихомирить соседей:

— Да будет вам, будет! Да что вы, ребята, в самом-то деле?!

Но никто его не слушает.

Глухой раскат взрыва.

Молоденький худенький врач по прозвищу Шурик-заика и несколько сестер с насмерть перепуганными лицами вбегают в палату.

— Товарищи, успокойтесь!

— Пропадаем, братцы...

— А-а!!!

— Пустите!!..

И, тогда вскинув руки, напрягая все силы своего голоса, Светлана звонко и отчаянно кричит:

— Мужчины!!! Эх вы, мужчины! Ну, чего вы испугались, чего?! Фриц прилетел? Подумашь!.. Да я смеюсь, я смеюсь над ним!..

Она произносит раздельно:

— Ха-ха-ха! Да ведь он же косой, этот фриц! Ему же в нас нипочем не попасть! Ну, кого испугались?!

Она побегает к окну, высовывается, грохнит в небо маленьким кулаком.

— Дурак, дурак, косой, трус! Улетай, трус, пока не сбили! Улетай лучше, все равно не попадешь!

И все в палате невольно умолкают. И на искаженных болью и страхом лицах появляется неожиданно выражение самого откровенного любопытства, словно все ждут, послушается немецкий летчик Светлану или не послушается.

— Улетай, косой! — повторяет Светлана.

Напряженная тишина.

Далекая пулеметная очередь, а затем гул самолета затихает, становится все глушше, замирает и растворяется в сером утреннем небе.

— Улетел! — говорит кто-то негромко, с нервным удивленным смешком.— Улетел, братцы!

Несколько голосов отвечают на этот смешок:

— Испугался...

— Точно!..

— Нет, ты скажи пожалуйста, улетел!..

Смешок. Потом еще смешок. И еще. И еще.

И вот уже буйный, неудержимый смех прокатывается из конца в конец по палате. И в этом смехе сливаются воедино и стыд, и неловкость, и радость, и гордое восхищение перед душевной стойкостью и силой веры.

Смеются раненые и, смеясь, охая, они подбирают с пола бинты и простыни, разыскивают оброненные кости, осторожно укладывают на койки.

И, точно ничего не случилось, Светлана улыбается и говорит спокойно и мягко:

— С добрым утром, товарищи раненые! Сейчас будем мерить температуру!..

...Светлана, перекинув через плечо полотенце, устало поднимается по лестнице на второй этаж.

Снизу, с площадки, окликает ее синеглазая Муська:

— Света, Света, ты куда?

— Отдыхать.

— Светочка, миленькая, выручай! — быстро и жалобно говорит Муська.— Женька Фатеева заболела, Вера с Шуриком-зайкой в перевязочной. Наталья Михайловна злится,

кошмар! Светочка, миленькая, только на один часик, а? Только лоток мне подержишь... Ну, и вообще — поможешь... А, Светочка?

Операционная.

Ровный плоский свет подвешенного на трюсе соффита. Сверкающие и очень страшные в своей непонятности хирургические инструменты. Неподвижное тело раненого с зашпакинутой головой на операционном столе.

Наталья Михайловна в широком kleenчатом фартуке поверх халата растопыривает руки, и Муська быстро и ловко натягивает ей на руки резиновые перчатки.

Ассистент мажет грудь раненого йодным тампоном.

Светлана стоит в стороне, держит лоток с инструментами.

Наталья Михайловна подходит к столу. Над марлевой маской строго смотрят зеленые странно-пустые глаза.

Муська, тяжело дыша, шепчет Светлане:

— Красивый?

— Кто? — не понимает Светлана.

Муська показывает глазами на раненого.

— Это ж Сенечка... лейтенант... Я ж тебе вчера говорила... Это мой Сенечка!

Наталья Михайловна чуть отводит руку в перчатке назад, раскрывает ладонь:

— Скальпель!

Муська берет скальпель с лотка, который держит Светлана, и, прихлопнув, кладет его на раскрытую ладонь Натальи Михайловны.

— Внимание — пульс! Следите за пульсом!

Светлана внимательно смотрит, сдвигает брови. Лоток с инструментом слегка дрожит в ее руках.

— Дешамп!

Муська передает Наталье Михайловне дешамп.

Раненый вскрикивает.

— Потерпи!.. Спокойно!..

Ассистент монотонно считает:

— Раз, два, три, четыре, пять...

Раненый, стиснув зубы, мычит.

Пауза.

— Ну!..

Светлана оглядывается и с ужасом замечает, что Муськи рядом нет. Она сидит на табуретке у стены и, как-то заваливаясь вниз, прижимает к носу пузырек с нашатырным спиртом. В белом лице — ни кровинки.

— Кохер!

Светлана, окончательно растерявшись, хватает с лотка первый попавшийся инструмент, протягивает Наталье Михайловне.

— Кохер, я сказала, мать вашу так!

С резким свистом пролетает через всю операционную отброшенный Натальей Михайловной инструмент, падает на бетонный пол, звенит, подпрыгивает.

Наталья Михайловна в бешенстве обращается, смотрит — в зеленых глазах неожиданно появляется подобие скромной улыбки — и, тыча резиновыми пальцами в инструменты,

разложенные на лотке, Наталья Михайловна быстро говорит:

— Кохер... дешамп... скальпель... кедгут... клемм, ножницы...

Она снова склоняется над столом и уже другим, повелительным тоном бросает через плечо:

— Кохер!..

Светлана берет кохер и, подражая Муське, опускает его, прихлопывая, на раскрытую ладонь.

Наталья Михайловна кивает:

— Да!.. Клемм!

Светлана подает клемм.

— Пульс?

— Норма.

В стеклянную банку, стоящую под операционным столом, с глухим стуком падает оплавленный, в крови и слизи металлический осколок.

— Начинка! — почти весело говорит Наталья Михайловна.

Светлана смотрит.

Руки в резиновых перчатках твердо держат лоток с инструментами.

Сконфуженная Муська поднимается, тихонько становится рядом со Светланой, бормочет:

— Вот ерунда-то! Никогда со мной такого не было!

— Кедгут! — командует Наталья Михайловна — Еще кедгут, и — кто там есть, санитары, — готовьте следующего!..

Так продолжается весь день, весь вечер, всю ночь.

Санитары на носилках выносят из операционной неподвижное тело, накрытое простыней; Светлана мокрым бинтом вытирает залпанный кровью kleenчатый фартук Натальи Михайловны; Муська щедро поливает спиртом инструменты в лотке; стучит педаль рукомойника, булькает вода в стерилизаторе.

А потом после короткого едва ли не секундного перерыва опять начинается все сначала — неподвижное тело с запрокинутой головой на операционном столе, ровный свет соффита, бесстрастный и монотонный голос Натальи Михайловны:

— Скалpelль... тампон... еще тампон...

Кровь. Крик.

В стеклянную банку под операционным столом падают оплавленные осколки.

— Ножницы... шелк... Следующий!

И в какие-то мгновения Светлане начинает казаться, что это никогда не кончится, что этот бесстрастный, монотонный, чуть глуховатый голос будет звучать вечно:

— Следующий!.. Следующий!.. Следующий!..

Раннее утро.

Тишина.

На крыльце дома стоят Наталья Михайловна, Светлана, Муська. Они стоят неподвижно, молча, уронив руки и полузакрыв глаза, будто спят.

Из палатки выходят Вера и Шурик-заика.

— Здра-а-а-ствуйте! — нараспев говорит Шурик. — Вста-а-али уже?

Муська хмуро усмехается:

— Встали! Еще не ложились! Пять минут назад последнюю операцию кончили!

Шурик удивленно моргает длинными, как у девушки, ресницами.

— Что ж вы спать не идете?

— Надо бы! — тихо, не открывая глаз, отвечает Наталья Михайловна. — Надо бы, Шурик. Но сил нет. Да и не уснуть сейчас все равно. Вот постоим, подышим... — Она нервно передергивает плечами. — Какое-то утро странное, правда? Тревожное. Как будто что-то случилось.. Вам не кажется?!

Муська и Вера в недоумении переглядаются.

Их поражает, собственно, даже не столько сам вопрос Натальи Михайловны, сколько то, что она впервые за все время их совместной службы заговорила о чем-то, что не имеет прямого касательства к работе, проявила какое-то волнение, обнаружила какую-то слабость.

— Что же могло случиться, Наталья Михайловна? — рассудительно отвечает Шурик.

— Не знаю. Сама не пойму. Но что-то случилось... Слышиште? — негромко вскрикивает Наталья Михайловна и вытягивает вперед руку. — Слышиште?..

И все, невольно заразившись ее беспокойством, тревожно прислушиваются.

— Ничего не слышу! — говорит Муська. — Сводку, может, передают?

— Да как же вы не слышите?! — сердится Наталья Михайловна. — Вот, опять...

— Что?

— Капает... Слышите?

— Где?

— Не знаю.

Шурик-заика подозрительно смотрит на Вери.

— А это не в перевязочной, товарищ Смирнова? Вы хорошо все проверили, ко-о-огда уходили?..

Вера обиженно надувает губы.

— Пожалуйста, я могу еще раз проверить, пожалуйста!..

Вера сбегает с крыльца, направляется к палатке, откидывает полог входа.

Все молча ждут.

Вера собирается уже нырнуть в палатку, но останавливается, почему-то озирается, потом подходит к старой березе и, обернувшись, машет рукой стоящим на крыльце:

— Идите... Идите скорее сюда! Все идите!..

В стволе березы, пробив глубоко кору и врезавшись в самую сердцевину, торчит осколок — угодил, наверное, во время вчерашней бомбейки.

А кто-то из санитаров (или, может быть, из раненых) догадался и положил на землю, наподобие котелка, старую солдатскую каску. И березовый сок, вытекая из раны в стволе, то глухо, то звонко медленно капает на дно каски.

Наталья Михайловна с блестевшими

глазами, каким-то незнакомым очень женским движением поправляет волосы, касается пальцами содранной коры.

— Так вот что случилось! — тихо говорит она. — Действительно, Шурик, ничего особенного! Ничего особенного не случилось, просто — весна!..

И окончательно повергая Муську и Веру в трепет изумления, она произносит зазвеневшим голосом:

— Мне грустно и легко.

Печаль моя светла,

Печаль моя полна разлукою с тобою!

Тишина.

В молчании, виновато и растерянно улыбаясь, стоят люди перед раненым деревом.

Капает сок в солдатскую каску: кап-кап-кап!..

На дороге, за забором, безмятежно настырывает неведомая пичуга.

Ветер гонит по небу подкрашенные в розовое легкие утренние облака и в разрыве этих облаков отчетливо виден похожий на журавлинный клин строй идущих на восток немецких бомбардировщиков.

— Летят! — горько усмехается Шурик. — Летят! Журавли!

На крыльце дома в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи, быстро выходит комиссар госпиталя Дронов, говорит, не здороваясь:

— Товарищи, вот что — срочная эвакуация... В полчаса всем быть готовыми!..

Он кривится, встряхивает головой и обращается к Наталье Михайловне подчеркнуто деловым тоном:

— Пойдемте, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна и Дронов торопливо уходят в дом. Хлопает дверь.

— И откуда у него сила такая? — тоскливо спрашивает Муська. — Прет, и прет, и прет! Неужто он и вправду сильнее всех?

Ей никто не отвечает.

— Что ж, пошли, девочки, собираться! — хмурится Вера.

— Пошли, Света!

— Пошли! — говорит, не двигаясь, Светлана.

Свистит на дороге птица.

Капает березовый сок в солдатскую каску:
Как... кап... кап!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Диктор по радио говорит:

— Вчера, четвертого мая, на энском направлении наши войска продолжали вести тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, сосредоточившего на этом участке фронта...

Голос диктора заглушает грохот близкого боя.

Это не воздушный налет и не ставшее почти привычным громыхание дальнобойных

орудий — это где-то совсем рядом (на дороге или даже, может быть, во дворе) строчат автоматные очереди, тявкает и захлебывается пулемет, рвутся с шипением гранаты и мины.

...Сквозь узкое оконце, забранное решеткой, едва проникает в подвал дома «На семи ветрах» слабый свет дня и тянет желтым едким пороховым дымом.

Здесь помещалась когда-то котельная. А потом здесь стояли печатные станки и хранились рулоны типографской бумаги. А потом здесь был вещевой склад госпиталя.

И все эти многообразные формы подвального бытия, точно геологические эпохи, остались тут свои следы: огромный проржавленный бак для воды с замотанным тряпкой краном, несколько рулонов бумаги и рассыпанный типографский набор, продранные халаты, стопки марлевых салфеток и тяжелые тюки с бельем.

Светлана неподвижно сидит в углу, привалившись спиной к стене, откинув назад голову. Правой рукой она зачем-то стягивает у горла халат, а в левой, бессильно опущенной, зажат маленький «Вальтер» — прощальный подарок Суздалева.

— Эгей, гражданочка!..

Светлана не откликается.

Громыхают сапоги по каменным ступенькам лестницы, распахивается тугая дверь, и несколько человек военных — шумных, жарких, возбужденных недавним боем, в пропотевших и выцветших гимнастерках, с темными от усталости и копоти лицами — ввалива-

ются в подвал. Командир роты, старший лейтенант Васильев — крутолобый, с седеющей на висках головой, припадая на большую ногу в разрезанном сверху донизу сапоге,— подходит к оконту, одобрительно ворчит и, обернувшись, кивает Светлане:

— Собирайтесь! Как стемнеет, мы отправим связного. Пойдете с ним!

— Куда? — безучастно и вяло спрашивает Светлана.

— В штаб дивизии. А там уж разберетесь, кто вы и что вы!

— Хорошо! — все так же вяло, не двигаясь, соглашается Светлана.

Во дворе, прошелестев, разрывается мина. Комья земли и всяческой дряни вперемешку с кирпичной пылью сыплются сквозь оконце на каменный пол.

Васильев хлопает по плечу стоящего рядом темноглазого красавца.

— Где Репьев?

— Наверху, товарищ ротный!

— Скажи ему, Мамакаев, пусть готовится — скоро пойдет. И передай комвзводам, чтоб стягивали людей к дому — будем занимать оборону.

— Слушаю, товарищ старший лейтенант! — Мамакаев убегает.

Светлана с внезапным интересом поднимает глаза на Васильева.

— Вы тут останетесь?

— Именно!

Светлана радостно улыбается, всплескивает руками, встает.

— Ой, ну тогда зачем же мне уходить?! Тогда и я останусь...

— Нет, вы уйдете! — спокойно говорит Васильев.

— Нет, я останусь! — не менее спокойно и даже строптиво возражает Светлана. — Здесь у меня имущество, товарищ старший лейтенант! И гражданское и военное — госпитальное. Я его с последней машиной вывезти должна была, а машину разбомбили...

Васильев со злостью перебивает Светлану:

— Да поймите же вы, черт побери, не могу я вам позволить тут оставаться! Человек вы мне неизвестный, возиться мне с вами некогда...

— Разрешите, товарищ ротный?! — раздается неожиданно чей-то голос.

— Ну?

Худенький кривоногий солдатик с удивительно добрым курносым лицом — тот самый почтальон Гаркуша, что приносил когда-то письма в редакцию, — шагнув вперед, к светлу, очень внимательно разглядывает Светлану, цокает языком:

— Ай-ай-ай! Слушай, да я ж тебя знаю, тут в доме у вас газета стояла, точно?! Газета «Вперед»! Я письма приносил, и вроде мы видались... Могло это быть?

— Могло! — подтверждает Светлана и вдруг, просияв, порывисто обнимает и целует Гаркушу. — Да-да... И я вас теперь узнала, да!

— Ну, точно! — смущенно и обрадовано говорит Гаркуша и оборачивается к Ва-

сильеву. — Знаю я ее, товарищ старший лейтенант! Гляжу — определенно личность знакомая. В газете она работала, знаю я ее.

— И еще в госпитале! — не удержавшись, добавляет Светлана. — Потом, после газеты...

— В госпитале?

Васильев, охая и потирая раненую ногу, критически оглядывает Светлану.

— Ну а санинструктором, например, сможете?

Светлана пожимает плечами.

— Сможет, сможет! — покровительственно свидетельствует Гаркуша. — Знаю я ее, товарищ старший лейтенант!..

Молчание.

— Ладно, оставайтесь, будете санинструктором! — машет, наконец, рукой Васильев и криво усмехается: — Пополнение, да! С бору по сосенке! И писаря у меня, и почтальоны, и деды, и внуки!.. А теперь еще вы... Вас как зовут?

— Светлана.

Помолчав, Васильев говорит строго, слегка понизив голос:

— Попрошу, санинструктор Светлана, учесть... тут сейчас передний край.. самый передний! А народ в роте — я уже сказал — разный... Так что, товарищ санинструктор, насчет всякого такого прочего, — он прищелкивает пальцами, — чтобы ни-ни! Вам понятно?

Светлана с совершенно искренним недоумением качает головой.

— Нет, товарищ старший лейтенант, нет, непонятно! Что вы имеете в виду?

Васильев подозрительно смотрит на Светлану — притворяется, или нет?! Но глаза у Светланы в эту минуту такие честные и ясные, такое искреннее и откровенное непонимание написано на ее лице, что Васильев, даже смущившись, неопределенно хмыкает:

— Дисциплина, санинструктор, дисциплина, вот что!

Он отворачивается от Светланы, спотыкающимися шагами, опираясь на палку, обходит подвал, к чему-то прислушивается, одобрительно сдвигает брови.

— А квартира-то подходящая! Прочная квартира!..

Он стукает кулаком по стене, решительно говорит:

— Тут мой КП будет!

И снова охнув, он садится, вытягивает ногу и уже дружески, как своей, улыбается Светлане.

— Ну-ка, дочка, взгляни, пожалуйста, что у меня с ногой.

Так в первых числах мая измотанное не-прерывными боями и потерями занимает оборону в доме «На семи ветрах» подразделение, которым командует старший лейтенант Васильев.

И снова за каких-нибудь два-три часа не-узнаемо преображается этот многострадальный дом, превращенный теперь в военную крепость и уже именуемый в сводках и донесениях не домом, а стратегическим пунктом...

Подвал, переоборудованный в КП.

Усатый старшина Гречко, исполняющий по совместительству обязанности ротного писаря, протягивает Васильеву ведомость на довольствие и коротко рапортует:

— Товарищ старший лейтенант! Из лично-го состава роты на сегодняшний день имеется в наличии ровно тридцать пять человек! — И после паузы добавляет: — И еще один — санинструктор!..

А в помещении сберкассы и почты неторопливо и деловито хозяинчают пулеметчики — бывший почтальон Гаркуша со своим вторым номером, молчаливым и по-крестьянски степенным и основательным Огольцовом. Они притаскивают воду в брезентовых ведрах, сдвигают в один ряд патронные ящики, устанавливают в окне пулемет, маскируя его какими-то веточками, потом заваливают окно мешками с песком, оставляя только узкую смотровую щель, и еще, для верности, подпирают все это сооружение сзади несгораемым сейфом.

— Вы только, пожалуйста, не попортите его,— просит Светлана.— Там деньги!

— Ну? — с загоревшимися глазами обрачиваются Огольцов. — И много?..

Гаркуша смеется:

— А тебе сколько надо?

— Пять тыщ! — немедленно отвечает Огольцов.

Гаркуша подмигивает Светлане, как бы приглашая ее вместе повеселиться.

— А зачем тебе, Огольцов, пять тыщ?

— А я бы их мамане послал, старушке! На фронте какие ж заработки! Налево не постреляешь! Послал бы я мамане деньжат, а уж ей бы за пять-то тысяч аппарат бы сладили!..

— Какой еще такой аппарат?

— А чтобы самогон гнать! — доверчиво и охотно поясняет Огольцов. — Гнала бы себе старушка первачок и жила бы, горя не знала!..

И он уважительно поглаживает рукой свинцовье бока сейфа.

...А в зрительном зале, где тоже каждое окно превращено в бойницу и завалено мешками с песком, сидят на подостланных шинельках солдаты, вяло жуют хлеб, покуривают, дремлют.

Хмурый, большеголовый, с лицом, изрытым осью, автоматчик Симагин, дожевывая хлеб и аккуратно собрав в ладонь крошки, ворчливо говорит:

— Я свое дело исполняю, так?! А почему он свое дело не исполняет?

— Не пройти никак! — вздыхает веснущатый, с ясными мальчишескими глазами Мыльников. — Кругом дома заминировано, а со стороны дороги немец не пустит! Вот ежели Репьев доберется до штабдива, он им там скажет!..

Симагин, презрительно сплюнув, растягивается на шинели, закидывает руки за голову и, помолчав, упрямо говорит:

— Репьев Репьевым, а я без супа воевать несогласный!

В стороне, у самой рампы, соорудив из патронных ящиков нечто вроде стола, сидит ополченец, парторг роты, лейтенант Славин, пишет письмо. Услышав последние слова Симагина, он поднимает голову и холодно произносит:

— Я письмо пишу. В Ленинград. Отцу. Если он жив. Так, может, вы, товарищ Симагин припишите ему несколько слов насчет супа?!

А на сцене, перед рисованным задником с маками и подсолнухами, широко расставив ноги и глубокомысленно склонив набок голову, стоит старшина Гречко, взъерошено и тяжко сопит.

Поднимается на сцену Мамакаев, становится рядом с Гречко.

— Красота! А, Мамакаев?! — тихо говорит Гречко. — И все, главное, в точности — и маки, и хатка, и подсолнухи. Все в точности! Гляжу, понимаешь, и будто я дома!

За окном в потемневшее небо взлетает осветительная ракета. Сквозь щели в бойницах мертвенный голубоватый свет проникает в зал.

— По местам! — негромко командует Славин.

Симагин злобно машет рукой.

— И что ему не спится, фрицу чертову?! То утрецком в семь начинал, а то...

Пулеметная очередь. Всхлипнув, разрывается мина. Взвизгивают пули, и тонкие струйки песка текут из распоротых мешков.

В зал, пригибаясь и размахивая санитарной сумкой, вбегает Светлана.

— Здрасьте! Баб не хватало! — встречает ее Симагин.

— Уйдите! — бешено дергает плечом Славин. — Что вам тут надо?

Пулеметная очередь.

— Ничего, товарищ лейтенант, вы стреляйте, стреляйте! — мирно говорит Светлана, точно любезная хозяйка, разрешающая гостям курить. — Вы не обращайте на меня внимания, стреляйте!

Трескотня автоматов.

— За дорогой следите! — кричит Славин. — Следите за дорогой!..

Длинная трассирующая очередь прошибает вечернюю темень.

Гулко стучит пулемет.

И вдруг — тишина.

— Что это он? — даже пугается Гречко. Тишина. Напряженная тишина.

А потом оттуда, из темноты, со стороны немецких траншей, доносится непонятное шипение, смех, музыка. Гитара и мандолина играют какой-то нехитрый, всем знакомый и тысячи раз слышанный, не имеющий названия вальсок, и вкрадчивый женский голос, усиленный репродуктором, произносит отчетливо, печально и нежно:

— Ваня! Ванечка! Не стреляй! Не стреляй, миленький, брось! Весна, Ванечка, чуешь? Жить хочется, гулять хочется, любить хочется...

Молча, стиснув зубы, с потными от напряжения лицами слушают солдаты.

Над немецкими траншеями, над ничьей землей, над притихшим домом «На семи ветрах» в синих сумерках разносится вкрадчивый шепот:

— Кончай воевать, Ванечка, не губи жизнь молодую!..

Тихо-тихо звенят гитара и мандолина.

И тогда громко и презрительно засмеявшись, Светлана встает, снимает пилотку, потягивается, встряхивает головой — золотые, уже отросшие волосы, рассыпаются по плечам.

— Ты чего? — удивленно смотрит на нее Гречко.

И, смеясь все громче, нарочно привлекая к себе внимание, Светлана говорит:

— Это ведь не женщина — это пластинка! Слышите, шипит даже?!..

Солдаты смущенно переглядываются.

Мамакаев, сверкнув глазами, восторженно скалится:

— Женюсь на тебе, дочка! — Он с треском вгоняет в автомат запасный диск.

— По фашистским гадам!..

Залп.

Трассирующие автоматы очереди прошибают вечернюю темень. Часто и гулко стучит пулемет.

— Товарищ старший лейтенант! На сегодняшний день из личного состава роты имеется в наличии ровно семнадцать человек!..

— Та-а-к-с! — вздыхает Васильев.

Он лежит на нарах, укрытый до подбородка шинелью. Его трясет. Измученные болью глаза кажутся огромными на побелевшем и заострившемся лице.

— Садись, старшина!

Гречко садится на краешек табурета, делкатно откашливается в кулак:

— Не полегшало вам, товарищ ротный?

— Полегшало! — усмехается Васильев. Вовсе встать не могу!..

В подвале полумрак.

В топке котла на небольшом костре тонко поет, закипая, облупленный чайник. В углу, стараясь не шуметь, Светлана развесивает на веревке выстиранные бинты.

Лейтенант Славин стоит у зарешеченного оконца.

А на улице день, синее небо, удивительная пугающая тишина. И даже слышно по временам, как трещат в пробившейся траве полевые кузнецики.

Васильев, морщась, приподнимается на локте:

— Когда, мы старшина, отправляли связных?

— Репьева, товарищ ротный, на прошлой неделе еще. А Ваню Макарова — третьего дня.

— Значит, не прошли?

— Выходит, что так!

Васильев откладывается на подушку.

— Что делать будем, Денис Макарыч?! — снова спрашивает он, помолчав. — На сколько дней боезапасов у нас?

— Дня на три.

Славин резко оборачивается.

— А мины ДЗ? Взрывчатка? Не разбазарили?

— Зачем же? Имеются.

Васильев, поглядев на Светлану и царящая ногтем шинель, тихо говорит:

— Что ж, три дня, стало быть, еще повоюем!

— А потом? — приподнимается, задохнувшись, Гречко.

Васильев кривит рот в недобродушной улыбке.

— Сдаваться не будем! — Он яростно, в упор смотрит на Гречко. — А ты что, струсил?!

— Нет, товарищ ротный, но... может... я думал...

— Струсил! — как-то странно, нараспив произносит Васильев, медленно засовывает руку под подушку, вытаскивает пистолет, цедит сквозь зубы:

— Струсил, старшина?

Славин заслоняет Гречко.

— Владимир Петрович!

Молчание.

Васильев, уронив пистолет, рывком отворачивается к стене.

— А знаете что, товарищ старший лейтенант, — вдруг громко говорит Светлана и выходит вперед. — Вы отправьте меня связной, а?! Я пройду, правда-правда! Я все дни как раз про это думаю! — она улыбается. — Я знаю, как надо пройти. Я придумала. Сперва по траншею, а потом не через дорогу, а на-

право, к бане, там рыли чего-то, еще до войны, и там лаз... А дальше уж и совсем просто! Я пройду, хотите?

Молчание.

Васильев, повернув голову, долго смотрит на Светлану, ловит воздух запекшимися губами, тихо говорит:

— Спасибо, дочка! Но только мы сутки еще подождем! Мало ли что может случиться?!

Скоро вечер.

Над немецкими траншеями стелятся дымки походных кухонь.

— Заправляется, гад, — ворчит Симагин и с отвращением принимается грызть черствый сухарь. — Чтой-то он нынче поздно!

Старшина Гречко вытаскивает карманные часы, постукивает пальцем по стеклу.

— Пять часов, как в аптеке. В семь начинает, в пять на обед идет.

— Ровно в пять? — интересуется Мыльников.

— Без трех минут, — отвечает Гречко. — А ты собрался куда, Мыльников? В кино или, может, на танцы?

Мрачный бас из угла уточняет:

— Он со своей Галей прошвырнуться желает...

Мыльников беззлобно машет рукой.

— Да будет вам! Я почему про время спросил? Я все насчет Вани Макарова...

— Макаров не придет! — резко перебивает Славин, опускает на колени автомат, ко-

торый он разбирал и чистил, говорит негромко, строго, спокойно:

— Он не придет. И нечего его больше ждать. Если б он сумел пройти хотя бы туда, мы б знали об этом!

— Это точно! — подтверждает со вздохом Гречко.

Секунду помедлив, он достает замусоленный список личного состава и, послюнив чернильный карандаш, старательно рисует в списке против фамилии Макарова жирный крест.

— Вот так!

И все, замолчав, отводят глаза и с какой-то ненужной поспешностью начинают заниматься ненужными делами — чистят и надраивают пустые котелки, зашивают безнадежно порванные и прожженные гимнастерки, перекладывают и пересчитывают патронные диски.

Светлана сидит на полу возле разбитого с оборванной крышкой рояля и, наклонив голову, скручивает выстиранные и высущенные бинты, запихивает их в сумку.

Закатное солнце пламенно сверкает в разбитых стеклах окон, зажигает пунцовые маки и рыжие подсолнухи на писанном заднике, золотит склоненную голову Светланы.

Сидевший на приступочке в дверях Гаркуша вопросительно и тревожно обводит взглядом хмурые лица товарищей, чешет в затылке и, что-то надумав и загадочно ухмыльнувшись, быстро поднимается и уходит.

— Мы-то все радовались, — с задумчивой протяжностью вдруг говорит Симагин. — Здорово, мол, в немецкое расположение вклинились! А выходит, что от всего нашего здоровья один аппендицит остался!..

Растерянные смешки.

Светлана быстро поднимает и снова опускает голову.

Славин долго молчит, горбится, постукивает себя по колену ребром ладони, потом говорит спокойно и медленно:

— Вот что, друзья... Есть такая поговорка на востоке: «Если враги принимают тебя за льва — рычи!» Положение у нас трудное, очень трудное. Мы, в сущности, окружены. Но немцы думают, что сидим мы тут прочно и основательно, что у нас и людей полно, и вооружение хоть куда! И эту их ошибку мы должны использовать до...

Он умолкает на мгновение, подыскивая слово, шевелит пальцами и, не найдя этого слова, а может быть, не считая больше нужным что-либо скрывать, говорит жестко, просто, с немного грустной улыбкой:

— До самой последней минуты и самого последнего патрона. И это, черт возьми, будет нашей с вами победой... Да! Вот и все, собственно, что я хотел вам сказать! Если у кого есть вопросы — пожалуйста!..

Молчание.

— Нет вопросов?

Старшина Гречко, оправив гимнастерку, говорит вежливо, словно извиняясь:

— Газет мы давно, товарищ парторг, не читали! Оттого и...

— Это точно! — подтверждает разом несколько голосов.

Гречко разводит руками.

— Ну и нервные тоже, конечно! Война!

Тоненький Мыльников задумчиво шмыгает носом:

— От нервов, говорят, очень исключительно рыбий жир помогает!

Он произносит эти слова с такой наивной и комической важностью, они так неожиданы, эти слова, что (как ни старайся) просто невозможно удержаться от смеха.

— Мыльников! — раздается озорной крик. — Эгей, Мыльников!

В дверях зала стоит Гаркуша. В руках у него пачка писем. Он хитро щурится, подбирает, пригнувшись к Мыльникову, трясет у него перед носом большим голубым конвертом. — А ну, давай, пляши, солдат. Галя твоя тебе письмо отписала! Пляши, давай!

— Будет врать! — и веря и не веря, бормочет Мыльников.

— Пляши, говорю!

Гаркуша лепоночко прихлопывает в ладоши:

— Барыня, барыня, сударыня-барыня... Ай, жги, Мыльников, жги, говори!..

— В чем дело, Гаркуша? — строго и в то же самое время с откровенным любопытством спрашивает Славин. — Что за письма у вас?

Гаркуша вытягивается.

— Обнакновенные письма, товарищ лейтенант! С почты! Которые недоставленные,

которые невостребованные. Гражданские, одним словом. С мирного еще времени — поясняет он, мотнув головой. — Их там, на огневой у нас, сколько хошь!..

Мамакаев решительно тянет руку:

— Ну-ка, дай почитать!

И еще следом тянутся несколько рук.

— И мне!

— И мне давай!

Гаркуша вопросительно смотрит на Славина.

— Разрешите, товарищ лейтенант?

Славин неопределенно морщится.

— Вообще-то, видите ли, чужие письма читать не полагается, но... — Он машет рукой. — Можно! Разрешаю!

Гаркуша, просияв, поднимает над головой раскрытую веером пачку конвертов.

— Подходи по одному!

Он раздает письма, сыплет направо и налево прибаутками:

— Пишет Мыльникову Галя, дорогая его края!.. Держи, Мыльников!.. Мамакаев Джемалдин — город Нальчик, дом один... А вот письмо для старшины — агромадной ширины...

Он останавливается перед Симагиным.

— Гражданин начальник, товарищ Симагин, вам какое письмо желательно будет? Голубое или розовое? Деловое или, извиняюсь, личное?

Симагин усмехается:

— Ты мне лучше денежный перевод давай. И чтобы сумма поболе!

— Пож-ж-жалуйста! — поет Гаркуша.— На сто тысяч перевод с получением через год! Бери, не жалко!..

Он подходит к Славину, смущенно улыбается.

— Почитаете, может, товарищ лейтенант? Одно письмо у меня как раз и осталось! Хотите?!

И Славин тоже улыбается — виновато и смущенно, негромко говорит:

— Ладно. Оставьте. Я посмотрю.

Гаркуша доверительно склоняется к плечу Славина.

— А ежели, товарищ лейтенант, вам это не понравится, так я другое доставлю, вы только скажите!..

Тишина. Она прерывается лишь негромким бормотанием, вздохами, шуршанием бумаги.

Заштитники дома «На семи ветрах» — истекающее кровью, изнуренное голодом подразделение — читает письма. Чужие письма. Шевелятся обветренные, потрескавшиеся губы, беззвучно произнося слова, обожженные пальцы медленно движутся по строчкам, то мрачнеют, то смеются воспаленные от бессоницы и дыма глаза. Пронзительным майским вечером в двухстах метрах от немецких траншей, зажав автоматы в коленях, солдаты читают мирные письма.

Лейтенант Славин хмыкает:

— Вот так задачу мне задали! Продавать Буренку или себе оставить? Прямо и не знаю, что посоветовать!..

И немедленно, подхватывая эту игру, откликается Мыльников:

— А мне пишут, что Анюта, внучка моя, двоих родила. Девочку и мальчика. Мальчика в честь меня Игнашай хотят назвать!..

— Ты что за письмо мне дал?! — гневно наступает старшина Гречко на Гаркушу. — Нет, ты что за письмо, бисов сын, мне подсунул? Всем людям письма, как письма, а мне...

Он читает вслух, запинаясь на каждом слове:

— «Уважаемый коллега! Вы слишком снисходительны к Джэнкинсу, полагая, что его концепция ошибочна только в вопросе об эволюции родовой миграции»..

Хохот.

Симагин мрачным басом сообщает:

— А у нас, на тринадцатой-бис, вдвое добыча повысилась. Всем премии дали. Меня лично путевкой в Ялту премировали!..

Кто-то мечтательно вздыхает:

— Я был в Ялте. В Ялте хорошо!..

И снова тишина.

Солдаты читают письма. Это не смятые без марок военные треугольнички со штемпелями полевой почты, написанные наспех на клочках случайной бумаги, — это настоящие письма, в плотных конвертах, с марками, солидные довоенные письма, написанные подробно, неторопливо и обстоятельно.

— Женюсь! — горячанно вскрикивает Мамакаев, поглощенный доставшимся ему письмом. — Честное слово, женюсь на ней!

— Это на ком же? А? Джемальдин? — интересуется Гаркуша.

— На ней! — бушует Мамакаев. — На ней, что письмо мне прислала!

Он встает.

— Слушайте!..

Щелкает выстрел. Сыплется штукатурка, летят стекла, дымится в лучах закатного солнца кирпичная пыль.

Но Мамакаев только отмахивается.

— Заткнись, глупец!.. Слушайте все, что она мне пишет!.. — Он держит письмо в вытянутой руке и, сверкая глазами, напружинив скулы, очень громко и не очень внимательно читает:

— «Любимый мой, единственный! По ночам, когда нет сна, я лежу и думаю о тебе. Помнишь у Лермонтова — «За все, за все тебя благодарю я...»

Светлана, вздрогнув, поднимает голову.

В глазах у нее недоумение и испуг.

Мамакаев читает:

— «...Ах, как это верно! Вот и я за все тебя благодарю — и за то, что ты живешь на земле, и за то, что ты меня полюбил, и за то, что ты сделал так, что я тебя полюбила, и за нашу встречу, и даже за нашу разлуку»...

— За что, за что? — недосыпав, спрашивает Гаркуша.

— За нашу разлуку...

— Вы читайте помедленнее, Мамакаев! — просит Славин.

Мамакаев стучит себя кулаком в грудь.

— Я не могу медленнее! Меня слезы душат!..

Оглядевшись, он решительным жестом протягивает письмо Светлане:

— Читай, дочка, у тебя лучше получится! Читай им, пускай все слышат, как она меня любит!

Светлана берет письмо, пробегает глазами неровные карандашные строчки, глухо, без слез, всхлипывает.

Все смотрят на нее.

— Читайте, товарищ санинструктор! — говорит Славин. — Читайте, пожалуйста.

— Читай, — горделиво приосанившись, требует Мамакаев.

Светлана читает:

— «Скоро я приеду к тебе. Это будет в девять вечера — я выучила наизусть расписание. Ты не встречай меня, я хочу сама найти твой дом. Я выйду с вокзальной площади на Малую Садовую, остановлюсь на минутку возле аптеки, прочту смешное объявление — ты мне о нем рассказывал: «Во избежание гриппа не чихайте друг на друга!.. — и нарочно буду очень долго и громко смеяться...»

Светлана опускает письмо, прикрывает глаза ресницами.

— Читай, читай!.. — говорит Мамакаев.

— Читай, сестрица! — просит Мышников. Светлана, тряхнув головой, читает:

— «...А потом — через мост, по линии автобуса до самого конца, до поселка УПЗ, Слободской улицы и твоего дома. А потом, — боже мой, у меня даже сейчас бьется сердце,

когда я пишу об этом, — потом я подойду к твоей двери и позвоню, как ты учил меня: три коротких звонка и один длинный, три коротких и длинный, и войду, и скажу: «Здравствуй, мой любимый, мой единственный, я приехала к тебе, я с тобой, нам теперь не страшна никакая беда!..»

Вспыхивает осветительная ракета.

И почти сразу же, следом, гулкий удар взрыва сотрясает дом и на мгновение, от взорванной земли, вставшей стеной перед окнами, в зале становится темно.

— По местам! — командует Славин. — Следить за дорогой!..

Убегает Гаркуша.

Треск вгоняемых в автоматы патронных дисков, хлопки одиночных выстрелов, захлебывающееся тикание пулеметов.

Мамакаев, припав к автоматному ложу, кричит Светлане:

— А ты читай, дочка! Читай, я злее буду!..

Грохот разрыва.

— Там ничего нет больше! — говорит Светлана.

— Неправда! Есть, читай!

— Читайте, товарищ, санинструктор! — почти приказывает Славин.

Тарахтит пулемет. Ему поддакивают автоматы. Рвутся мины, гудят и раскачиваются телеграфные столбы с мотками оборванной спутанной проволоки.

И освещаемая минометными вспышками, громко, чтобы грохот боя не заглушил ее слов,

делая вид, что она читает письмо, Светлана говорит:

— А если мы не встретимся, ты не тревожься, я дождусь тебя! И моя любовь, моя верность, моя надежда будут всюду с тобой — и в походе, и на привале, и в бою! Я дождусь тебя, любимый, сколько бы ни длилась разлука, и уже не я, а ты приедешь и позвонишь — три коротких звонка и один длинный, и войдешь, и скажешь: «Здравствуй, вот я и вернулся, как хорошо, что ты дождалась меня!..»

— За дорогой, за дорогой следите! — кричит Славин.

Гремит бой.

В разбитом зеркале, укрепленном наклонно на зарешеченном подвальном оконце, отражается фигура молоденького солдатика в сапогах, в ушитой в плечах шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, в лихой не по размеру пилотке, из-под которой выбиваются на лоб светлые волосы.

Это Светлана.

Она с интересом разглядывает свое отражение, делает строгое непрступное лицо, сурово сдвигает брови и тут же, не выдержав, показывает себе язык.

И все, кто находится в эту минуту в подвале, молча наблюдают за ней.

Светлана, поправив пилотку, оборачивается. Она видит устремленные на нее тревожно-вопросительные взгляды и спокойно, может быть чуть-чуть слишком спокойно, говорит:

— Я готова! Пожалуйста!

Славин, нагрев сургуч на фитиле, вставленном в гильзу, запечатывает лежащий на столе толстый пакет, заклеивает его сургучом и отдает Светлане.

— Командующему дивизией — генералу Дидько, в собственные руки.

— А про что тут написано? — наивно интересуется Светлана.

Васильев усмехается:

— Про все! И про тебя тоже!

Он протягивает Светлане горячую исхудавшую руку.

— Ну, в добрый час, дочка, прощай!

— До свидания, товарищ старший лейтенант!

— И запомни,— говорит Васильев, не выпуская Светланину руку.—Если ты пройдешь...

— Я пройду!

— Если ты пройдешь, — повышает голос Васильев,— то не возвращайся. Останешься у Дидько! — И, предупреждая возражение Светланы, он строго грозит пальцем: — Это приказ! Понятно?

— Понятно, товарищ старший лейтенант!

— Ну, еще раз прощай, санинструктор! — говорит Васильев и отпускает наконец руку Светланы.— Иди! До выхода из траншеи тебя Гаркуша проводит. Не пугайся, кстати, если мы тут, чтоб фрица отвлечь, небольшой шурум-бурум устроим! — Он устало прикрывает глаза: — Иди!

И когда Светлана, молча попрощавшись со всеми, в сопровождении Гаркуши выходит

из подвала, он, ткнувшись головой в подушку, произносит глухо и страстно:

— Пусть она пройдет! Господи! Пусть она пройдет!

Светлана, Гаркуша и Гречко стоят в сених, у двери на улицу.

Сумерки. Тишина.

— Можно идти? — шепотом спрашивает Гаркуша.

— Обожди!

Гречко сует Светлане в карман шинели пачку смятых фронтовых треугольников.

— Ребята просили — передашь там, на почте... И вот еще...

— Конфеты! — удивляется Светлана.

— Леденцы, — смущенно объясняет Гречко. — Погрызешь, если что!

И снова наступает молчание.

— Интересно, — задумчиво говорит Светлана и осторожно похлопывает себя ладонью по груди, где под шинелью и гимнастеркой спрятан запечатанный сургучной печатью пакет. — Интересно, что они там могли про меня написать, как вы думаете?

— Лишнего не написали, не беспокойся! — неопределенно отвечает Гречко.

Тишина. Поскрипывает в проржавленных петлях дверь.

Светлана зябко подергивает плечами.

— А сколько времени осталось еще? Минуты три еще есть?

— Пять минут!

— Ой, ну тогда я сейчас!.. Тогда погодите, сейчас я вернусь!

И прежде чем Гречко с Гаркушой успевают что-нибудь сообразить, Светлана, нашарив в темноте перила, бегом устремляется по лестнице на второй этаж.

— Пропадешь! — доносится снизу. — Эй, пропадешь! Слышишь?

Но Светлана уже наверху.

Она толкает дверь и входит в знакомый коридор.

Он все такой же — темный, длинный, неуютный. И все так же настежь распахнуты двери в комнаты, но теперь за этими дверьми — провал, пустота, лохмотья скрученного взрывом железа, обнаженные стропила с повисшими на них тряпками, бумагой, кусками ободранной штукатурки.

А комната Игоря цела, только выбито, вырвано с мясом, окно, и сквозь дыру в потолке безмятежно смотрит вечернее небо с хлопьями облаков и далекими звездами.

Светлана, пригорюнившись, подперев щеку ладонью, стоит на пороге.

Тихо-тихо шуршит ветер разбросанной по полу бумагой.

Светлана слушает, смотрит, осторожно делает несколько шагов вперед, останавливается возле книжной полки и вдруг, улыбнувшись, говорит вслух:

— Я хотела что-нибудь взять на память, но я ничего не возьму, потому что я вернусь. До свидания!

И, покивав по очереди книжной полке,

письменному столу, кровати, альпинистскому снаряжению, она возвращается в коридор, выходит на лестничную площадку и скатывается, громыхнув сапогами, по лестнице вниз.

Гречко и Гаркуша в ожидании Светланы, присев на корточки, курят; зыбкий красноватый огонек, прячась в ладонях, переходит от одного к другому.

— Ну, вот и все! — говорит Светлана. — Пора?

Гречко в последний раз щелкает крышкой карманных часов.

— Теперь пора!..

И, точно в ответ на его слова, по соседству, в помещении сберкассы и почты, хриплым лаем заходится пулемет.

— Пошли! — отчаянно выкрикивает Гречко, и две тени, метнувшись в полуоткрытую дверь навстречу огню и ветру, мгновенно пропадают в вечерних сумерках...

Бой продолжается всю ночь.

Перед рассветом он ненадолго стихает, а с восходом солнца, в семь утра, как всегда, возобновляется с прежней силой.

Ухаёт и дрожит земля.

Захлебывается пулемет.

— Ленту! — хрипло кричит Гаркуша. — Ленту, Митя, давай!..

И снова припадает к пулемету. И над его головой, не тронутая ни гарью, ни копотью, сияет на дверце несгораемого сейфа медная дощечка с надписью:

«Страховое общество «Россия».

Гремит бой.

Текут из распоротых мешков тонкие струйки песка.

Плача, посыпая пулью за пулей, лихорадочно твердит Мамакаев:

— За нашу дочку сто подлецов положу!.. Тысячу подлецов, положу, сволочи!.. Тысячу подлецов положу!..

В зал, пригибаясь, весь в саже, в бурой кирпичной пыли, вбегает Гаркуша, взмахивает руками.

— Ленты кончились... Все!

Он плюхается на шинель возле Мамакаева, хватает чай-то пустой автомат.

— Дай патрончика, Джемалдин!

— Убью! — скрипит зубами Мамакаев. — Не смей со мной рядом лежать, убью!..

— Я же невиноватый! — морщится, точно от боли, Гаркуша. — Я в траншее оставался, как ротный велел. А она ушла, все честью. А тут и началось... Я потом гляжу на дорогу — одни воронки!..

Грохот разрыва.

Бесшумно и медленно, как во сне, как песок в песочных часах, оплывает, оседает стена, и качнувшись, обрушивается в пустоту.

Дымится кирпичная пыль.

Гречко поднимается во весь рост, обеими руками обхватывает живот, и черные пальцы сразу становятся красными.

Но на лице Гречко ни испуга, ни боли, одно лишь изумление.

— Вот это уж зря! — говорит Гречко. — Совсем это зря!

Не пригибаясь и не таясь, вскинув голову, будто прислушиваясь к чему-то, что слышно теперь ему одному, он проходит чугунными шагами через весь зал, поднимается на сцену и тяжело падает, цепляясь руками за писаний маслом задник.

— Зря! — шепчет он дервенеющими губами.

Трещат автоматные очереди.

Гречко неподвижно лежит на холщовом заднике, и вокруг него, ставшие вдруг живыми, весело пылают ярко-красные маки и золотые подсолнухи, освещенные дымным утренним солнцем...

— Товарищ старший лейтенант! — докладывает Гаркуша. — На сегодняшнее число из личного состава роты имеется в наличии девять человек!..

Васильев берет список, проглядывает его, покачивает головой.

— Вот не знаю, товарищ ротный, — доверительно, понизив голос, говорит Гаркуша, — как санинструктора числить? Пропавшей без вести или как?

— Не зови ты меня — ротный! — огрызается Васильев. — Какой я теперь, к чертовой бабушке, ротный?!

Он тщательно складывает список пополам, потом еще раз и еще раз, пока в руках у него не остается маленький бумажный квадратик.

Здесь, в подвале, находятся сейчас все уцелевшие защитники «Дома на семи ветрах»,

весь «личный состав» бывшего подразделения, кроме лейтенанта Славина и Мыльникова.

За оконцем тяжкая тишина, глухая ночь. Но никто не спит.

Единственная, набранная из последних остатков цигарка переходит по цепочке из рук в руки, и, пока один курит, другие деликатно отворачиваются, облизывают языком шершавые губы и глотают слюну.

Отворяется дверь — тяжело дыша, в наинутых на плечи маскхалатах вваливаются Славин и Мыльников. Задрожав, мечется из стороны в сторону пламя коптилок, пляшут по стенам и потолку тени; и все глаза испытующе, но без особого, впрочем, интереса обращаются на вошедших.

— Товарищ старший лейтенант! Разрешите...

— Ну-ну? — нетерпеливо перебивает Васильев. — Что там?

Славин, снимая маскхалат, коротко говорит:

— Не пройти!

— Никак не пройти?

— Никак не пройти.

Васильев сжимает в кулаке бумажный квадратик и, раскрыв пальцы,роняет его на каменный пол. Потом он снимает часы, кладет их перед собой на табурет и, неожиданно оживившись, почти весело говорит:

— Значит, товарищи, решено? Устроим фрицу напоследок детский утренник с фейерверком и танцами!

— А что ж! — ухмыляется Симагин. — Помирать, так с музыкой!..

— Подождем помирать! — сердито говорит Славин.

— До семи подождем! — соглашается Симагин.

Тишина.

Покряхтев, Васильев осторожно приподнимается, спускает ноги на пол.

— Вы куда?

— Встать хочу.

Славин из темноты вяло советует:

— Не надо, Владимир Петрович, хуже будет.

Васильев усмехается:

— Хуже не будет!

Закусив губы, тяжело опираясь, он встает, мучительно улыбается. Кажется, что он вот-вот упадет. Но он не падает. И даже делает несколько шагов. И останавливается. И улыбается.

И в это мгновение отворяется дверь — и входит Светлана.

Она босиком, разорванная шинель заляпана кровью и грязью, волосы торчат во все стороны, за плечами болтается чем-то туго набитый и тоже заляпанный грязью вещевой мешок.

— Товарищ старший лейтенант! — звонко говорит Светлана и очень браво прикладывает руку к непокрытой голове. — Санин-стругарь Ивашова явилась!..

Васильев смотрит на нее... и падает.

Он падает ничком прямо к ее ногам, и Светлана, охнув, бросается к нему, становится на колени, расстегивает гимнастерку, присло-

нив ухо к его груди, слушает, бьется ли сердце, одобрительно хмыкает и, подняв голову, начинает деловито и спокойно, как ни в чем не бывало, распоряжаться:

— Ребята, быстренько поднимите его и положите на койку... И свету, свету побольше! Весь свет, какой есть, давайте сюда!..

Васильев лежит с мокрой тряпкой на лбу, устало и умиротворенно вздыхает. Рядом с ним, на койке сидят Светлана и Славин.

За оконцем неохотно и неотвратимо светает. Тянет предутренним холодком. И уже свистит какая-то ранняя птица, безмятежно попрыгивая по колючей проволоке.

Смутно плещется и звенит вода — это убака над деревянной бадьей, слияя друг другу на руки, старательно и степенно умываются солдаты, фыркают, приглашают мокрые волосы, надевают чистые белые рубахи из госпитальных запасов.

— Он так и сказал? — тихо спрашивает Васильев. — Не могу, мол, дать сейчас ни одного человека?

— Ага! — кивает Светлана. — Так и сказал. И еще он сказал: передайте, сказал он, старшему лейтенанту Васильеву, что я им горжусь!

— Спасибо!

— А еще он велел нам держаться! Продержитесь, говорит, хоть сутки! А потом...

С торжествующей и загадочной улыбкой Светлана развязывает вещевой мешок, достает большую, украшенную гербом шкатул-

ку, бережно открывает ее и протягивает Васильеву.

— Вот что он прислал!

В шкатулке на сафьяновом дне лежат наградные листы и несколько коробочек с орденами.

— Это нам? — со странным смешком осведомляется Славин.

— Вам!

— Мда-а! — цедит Васильев и, покачав шкатулку на ладони, точно проверяя ее вес, равнодушно откладывает ее в сторону, облизывает языком губы.

— Покурить бы!

— Ой, Владимир Петрович, я ж забыла совсем! — громко вскрикивает Светлана.

И все невольно оборачиваются.

Светлана снова запускает руку в вещевой мешок и достает нераспечатанную пачку папирос «Казбек».

— «Казбек», — восторженно шепчет Мамакаев и закатывает глаза. — Женюсь на тебе, дочка.

Славин ногтем распечатывает пачку, нюхает ее зачем-то, берет себе одну папиросу и передает пачку дальше.

И все осторожно берут из пачки по одной папирорсе, закуривают неторопливо, с достоинством, едва касаясь губами мундштуков.

— Ах, хорошо! — с наслаждением выдыхает дым Васильев, откинув голову на подушку. — Откуда такая роскошь?

Светлана пожимает плечами.

— Украла, товарищ старший лейтенант!

— Что-что?! — поперхнувшись, кашляет и задыхается Васильев. — Украла? Где? У кого?

— У генерала! — нимало не смущаясь, с некоторой даже гордостью объясняет Светлана. — У него папирос много. Пачек десять, наверное. Я одну в шинель исунула, когда его к телефону позвали!..

— Правильно сделала! — веско говорит Симагин, затянувшись еще раз и загасив папиросу, возвращается назад, к баку, кивает Огольцову. — Лей, Митя!..

...Звенит вода.

Фыркает и отдувается Симагин.

Васильев пристально, улыбаясь одними глазами, смотрит на довольную Светлану, качает головой.

— Ах, дочка, дочка! Как же это ты генерала обчистила?! Ну а спрашивал он у тебя про что-нибудь?

— Спрашивал. Сколько коммунистов у нас, спрашивал.

— А ты что сказала?

Светлана поджимает под себя босые ноги.

— Соврала. Сказала, что все.

Славин, улыбнувшись, говорит негромко и твердо:

— А вы не соврали. Нет. Все правильно—здесь все коммунисты!

Тишина.

На немецкой стороне, совсем рядом, зашипало и забормотало радио.

Васильев с тревогой бросает взгляд на

часы — половина седьмого. Светлана поднимается, встряхивает головой, нерешительно подходит к баку.

— Ребята! А, ребята!

— Ты чего? — смотрит на нее Огольцов.

— А мне... мне можно умыться?

Огольцов со смешком критически оглядывает Светлану.

— Да уж, хороша! Сапоги-то где потеряла?

— Я их не потеряла. Я их сбросила, как назад ползла. Они мне велики были, спадали, только мешались!

— Совсем еще хорошие сапоги! — вздыхает Огольцов и наполняет ковшик водой. — Ладно, давай солью.

Светлана растерянно отступает.

— Нет, нет, я сама... А вы отвернитесь, хорошо? Можно так, товарищ старший лейтенант?

Васильев смотрит на часы:

— Хорошо, дочка. Можно! Только ты поскорее!..

Звенит и плещет вода.

Молча, не шевелясь, с напряженными лицами сидят солдаты и смотрят, смотрят, не отрываясь, в узкое зарешеченное оконце, за которым все ярче разгорается их последнее утро.

Автоматная очередь.

— Скорее, дочка! — глухо говорит Васильев.

— Сейчас, сейчас!

Мыльников, не выдержав, закрывает рукой глаза.

Мрачно жует Мамакаев давным-давно докуренную до мундштука папиросу.

Издалека, охватывая небо и землю, прокатывается непонятный и грозный гул.

— Уже! — говорит Светлана.

Она стоит с порозовевшим чистым и ясным лицом, словно облитая вся, с головы до ног, веселым утренним солнцем, в солдатских штанах и ослепительно белой, с распахнутым воротом и закатанными рукавами рубахе.

И все молча смотрят на нее. Орудийный залп.

— По местам! — говорит Васильев.

Сотрясается дом «На семи ветрах» от яростного и глухого, всесокрушающего орудийного грома.

Воющий рев пикирующих бомбардировщиков.

Но все, по-прежнему не двигаясь, смотрят невидящими глазами на Светлану и прислушиваются в то же время с внезапно вспыхнувшей в измученных, но не сломленных душах надеждой к тому удивительному и страшному, что происходит в эту минуту на воле.

Грохочут тяжелые гусеницы устремившихся на прорыв танков.

Бьет артиллерия.

И все нарастая, приближаясь, катится долгожданное, могучее, остервенелое и радостное:

— Ур-ра-а-а!..

— Наши! — кричит Светлана. — Товарищи, дорогие мои, да ведь это же наши!..

...Они стоят на улице, на белом свете, под открытым небом, и кричат, и машут руками, и смеются, и плачут.

Мимо них, облепленные оружием десантниками, проносятся по дороге танки и самоходные орудия — вперед, в наступление!

Мимо них пробегает пехота — вперед, в наступление!

Летят, раскалывая грохотом небо, самолеты — вперед, в наступление!

И Гаркуша, задыхаясь, читает срывающимся голосом:

— «Вперед, в наступленье, товарищи-братья,

Вставай, подымайся в суровый поход.

А фрицам — погибель, а фрицам —

проклятье,

От нашего гнева никто не уйдет!»

И тишина. Сумерки.

Они стоят, живые, во дворе под старой бересней, перед невысоким холмом братской могилы.

Гаркуша читает:

«Ужасная мина мне стукнет в колено,
И кровью горячей уж я изойду,
Но знайте же, фрицы, что хоть и калека,
Я все-таки в ваши Берлины приду!..»

Сияет над фанерным щитом с именами погибших вырезанная из жести пятиконечная красноармейская звезда.

Поблескивают на груди у живых, и у Светланы тоже, новенькие звездочки — ордена.

Симагин и Славин с двух сторон поддерживают под руки Васильева.

Гаркуша читает:

«С своим автоматом до рейхстага дойду я,
И Гитлеру пулю всажу я в живот.
За нашу страну, за Сосновку родную,
Где мама моя дорогая живет!..»

Со стороны шоссе доносятся гудки автомашин, звонкие, точно плывущие по вечернему воздуху, голоса, шарканье, бряканье, лязг, смех, обрывки песен.

Гаркуша читает:

«А вы, дорогие товарищи наши,
Что пали за Родину, в грозных боях,
Мы вас не забудем, товарищи наши,
И жить вы останетесь в наших сердцах!..»

Васильев вскидывает руку с револьвером. Светлана, покосившись на него, тоже вытаскивает из кармана свой маленький «Вальтер», спускает предохранитель. Мамакаев, Мыльников и Симагин поднимают автоматы. Залп.

— Прощайте, товарищи! — тихо говорит Светлана.

Духовой оркестр на шоссе играет марш.

Это шагает в первом ряду потрепанной пехотной дивизии потрепанная музыкантская команда и самозабвенно, полузакрыв глаза,

впервые, быть может, за все эти месяцы, играет громкий торжественный марш.

— Марш, вперед! — поют серебряные трубы.

— Вперед, вперед! — стучат барабаны.

— Вперед, марш, марш! — задорно свистит флейта-пикколо.

И все идущие, бегущие, едущие, услышав звуки этого марша, невольно подтягиваются, распрямляют спины и расправляют плечи, улыбаются, молодцевато приосаниваются и подстраиваются в такт маршу.

— Ну, пошли! — говорит Васильев и, выдохнув воздух, притягивает к себе за плечи Светлану. — Прощай, дочка! Счастливо тебе оставаться! Спасибо за все!

— До свидания, Владимир Петрович!

— Все! — говорит Васильев и отворачивается.

Жесткие руки тянутся к Светлане.

— Прощай, дочка!

— Спасибо, дочка, вернусь — женюсь!

— Будь жива-здорова, сестрица!..

Гремит издалека веселый и торжественный марш.

Девять человек — горстка солдат, все, что осталось от роты старшего лейтенанта Васильева, — уходят в сумерках по шоссе, уходят туда, вперед, к дальнему лесу, за который укатилась война; уходят по шоссе, изрытому колдобинами и воронками, опутанному по обочинам колючей проволокой, щедро политому кровью, бензином и потом; уходят, мгно-

венно вливаясь в общий поток и растворяясь в нем.

А Светлана стоит возле разбитого крыльца разбитого дома и машет им вслед платком.

Все еще гремит в отдалении веселый марш.

— Эй, солдатка! — окликает Светлану молодой озорной голос. — Кого ждешь? Пошли с нами, солдатка!

— А вы куда?

— На Берлин!

Светлана смеется.

— Далеко!

И уже не один, а несколько голосов с разных сторон, почти одновременно, и грозно, и весело отвечают Светлане:

— А ничего, дойдем!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Диктор по радио говорит:

— Вчера, четвертого августа, на энском направлении наши войска, продолжая успешно развивать наступление, освободили от немецко-фашистских захватчиков районные центры: Масловку, Воробьево, Кыж, Стрепетово, Лоскутное, Красную Пустошь и уничтожили в ходе боев большое количество живой силы и техники противника! Наступление ...Ранний вечер.

Дом стоит в лесах. Присланный штабдивом саперный взвод с помощью санитаров,

легко раненных и выздоравливающих заделывает пробоины в стенах, латает крышу, вгоняет новые рамы в слепые окна.

Полощется над разбитым крыльцом рядом с неведомо как уцелевшей надписью «Добро пожаловать» белый флаг, пересеченный красным крестом.

Во дворе на прежнем месте — под старой березой, в печальном соседстве с братской могилой — растянута на кольях большая палатка.

За деревянным столом, врытым в землю, группа раненых азартно забивает «козла». Их окружают плотным кольцом болельщики — смеются, подают советы, спорят, громко и насмешливо обсуждают каждый ход.

А в помещении сберкассы и почты, снова ставшей дежуркой, свободные сестры и санитарки обступили Муську Кайгородскую.

Муська сидит в центре, на табурете. Лицо у нее в красных пятнах, растерянное, заплаканное, глуповато-счастливое.

— А еще какие родные есть у него? — спрашивает аптекарша Марья Петровна.

Муська мотает кудрявой головой.

— Не знаю я, Марья Петровна! Ну, ничего я, девочки, не знаю. Люблю его жутко, и все тут!..

— Любишь?! — язвительно усмехается Тоня Бойкова и вздергивает острые плечи. — Такого? Да еще старого?! Да еще с дитями?!

— Врешь ты все, врешь! — кричит Муська и сжимает кулаки. — Какого — такого?! Что

ж он, не человек, что ли?! И ничего он не старый, никакой он не старый, просто в годах! А дети у него малые. Две девчонки, ласковые, вроде как он. Я им заместо матери-покойницы буду!..

Она снова начинает плакать. Крупные слезы катятся по ее лицу, и она их не вытирает, не смахивает, только слизывает время от времени языком.

— Завтра, значит, едете? — интересуется Вера Смирнова.

Муська шмыгает носом.

— Ага, завтра. Начальник товарищ Дронов в штабдиве был и документы все на меня выправил и билеты... Очень он переживает за нас!

Вера вздыхает.

— Что ж, девочки, каждому свое счастье, умей только дождаться!

Она подходит к окну, смотрит, улыбается.

— Вон, глядите-ка, Светлана ждала, ждала и дождалась все-таки!

Девушки, толпясь, подбегают к окну, смотрят.

Во дворе на бревнах, освещенные заходящим солнцем, сидят Светлана и широкоплечий, в сером больничном халате и калошах на босу ногу, вихрастый раненый.

Раненый сидит спиной к окну. Он что-то оживленно рассказывает Светлане, и Светлана ахает, всплескивает руками, недоверчиво и счастливо смеется.

— Дождалась! — говорит Муська.

— Нет, а все-таки я до сих пор не могу понять, как же вы сразу узнали его?! — тормозит Светлана Суздалева.

Они сидят во дворе на бревнах, освещенные заходящим солнцем.

У Суздалева под больничным халатом стягивает грудь белый панцирь из гипса, бинтов и марли.

— Я запомнил имя и фамилию — Игорь Корнеев, — говорит Суздалев. — И когда нас познакомили, я сразу понял, что это он.

— Как странно! Я-то думала, что он сапер... А он разведчик!

— И хороший, черт его побери, разведчик! Отличный разведчик! Я очень жалею, что не успел с ним толком поговорить...

— Но вы сказали ему, что видели меня?

Суздалев улыбается.

— Да. Это я сказал.

— А он? Что он?

Суздалев молчит, подтягивает спадающую с ноги калошу, морщится, негромко произносит:

— А он ушел на задание. Готовилось наступление. Нужны были «языки». Он попрощался и ушел. Но глаза у него стали совсем голубыми. А были серые!

Он снова морщится:

— Я сделал только одну глупость... Я ведь был уверен, что вы ушли отсюда вместе с редакцией... И я сказал ему, чтобы он писал на адрес редакции! И не взял номера его полевой почты!..

Светлана задумчиво покачивает головой.
— А скажите, Вячеслав Павлович...

И вдруг, не договорив, она поспешно поднимается.

— Добрый вечер, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна, засунув руки в карман халата, неторопливо сходит с крыльца, останавливается, коротким кивком отвечает на приветствие Светланы.

— Добрый вечер! Там Воронин, сестра, просит прочесть ему письмо!

— Иду, Наталья Михайловна.

Светлана, улыбнувшись Суздалеву, уходит.

Наталья Михайловна провожает ее взглядом, оборачивается к Суздалеву, язвительно щурится:

— Это не тот случай, капитан! На роль «пэпэжэ» она не подходит! Отправляйтесь-ка лучше в палату, слышите?!. Ну?!

Суздалев стоит, вытянувшись, руки по швам, «ест глазами начальство», отвечает негромко, отчеканивая каждое слово:

— А я, товарищ главный хирург, товарищ майор медицинской службы, чихал на ваши распоряжения с высокого дерева!

Наталья Михайловна отступает.

— Вы сошли с ума!..

— Я отвечаю любезностью на любезность! И не сверкайте на меня глазами. Что вы мне можете сделать? Выписать? Отправить на фронт? Так ведь только об этом я и прошу!..

Молчание.

Небо залито багровым закатом.

Наталья Михайловна, быстро оглядевшись, дергает Суздалева за вихор, тихо говорит:

— Нахал ты! И всегда был нахалом, еще в школе! Свалился тут на мою голову!

Она улыбается.

— Ну, чего ты злишься?

Суздалев, дерзко прищурившись, медленно говорит:

— А тебе не кажется, товарищ майор медицинской службы, что ты меня просто ревнуешь?..

Наталья Михайловна, вспыхнув, меряет Суздалева презрительным взглядом.

— Нахал!

Она резко поворачивается и уходит.

Темнеет.

В синем небе загораются звезды.

И, как всегда, перед вечерним отбоем, и в палатке во дворе и в доме возникает особый, ни с чем не сравнимый, тревожный, больничный шум: кашель, стоны, раздраженные, капризные голоса раненых, беготня санитарок и сестер.

— В палату, в палату! — зовет Суздалева с крыльца Вера Смирнова. — Спать пора, капитан! Вы что тут делаете?

— Думаю! — отвечает, не двигаясь, Суздалев.

Вера смеется.

— Утром будете думать. А сейчас спать надо! Утро вечера мудренее, капитан!..

Утро. Небо в тучах. Напоминая о близкой осени, ветер гонит по дороге первую облетевшую листву, треплет и сбивает косынки сестер, распахивает халаты раненых, хлопает белым флагом, висящим над входом в дом.

У выезда со двора на шоссе стоит трофейная, в немыслимых разводах камуфляжа, пустая автомашина с откинутым брезентовым верхом.

Озабоченный Дронов что-то негромко наставительно втолковывает шоферу.

Рыжий, с васильковыми глазами, вертлявый раненый, прыгая на одной ноге, запевает дурашливым голосом:

— Толпились у загса трамваи,
Там пышная свадьба была...

Хохотут раненые.

Кокетливо посмеиваются сестры.

Суздалев, примостившись на ступеньках крыльца, говорит стоящей рядом Наталье Михайловне:

— И так вот тоже было на войне.

— Как — так? — не понимает Наталья Михайловна.

— Я хочу сказать, что на войне не только стреляли. И не только плакали. На войне еще и смеялись. И даже довольно часто. И понять это очень важно, черт побери! Тот, кто не умеет смеяться, никогда не научится побеждать!..

Вера Смирнова перекладывает с руки на руку огромный букет полевых цветов, недовольно ворчит:

— Что-то они больно долго — так, между прочим, и на поезд опоздать можно!

— Бреют его, — говорит Тоня Бойкова.

— Лихачева?

— Ясно, Лихачева! Не Муську же?

В доме в сенях слышна какая-то возня, стук, кашель, потом широко распахивается дверь. Величественно, павой, выплывает Светлана и торжественно объявляет:

— Идут!..

Мгновенно смолкают разговоры, перешептывание, пересмеивание, встает Суздалев и даже Дронов вытягивается у машины по стойке «смирно».

— Муська! — восторженно ахает Вера Смирнова.

На крыльце выходит Муська. Она в белом вечернем Светланином платье, из-под которого нелепо торчат начищенные до металлического блеска сапоги. На груди у Муськи значок ГТО и медаль «За отвагу».

А рядом, криво улыбаясь, стоит гвардии сержант Андрей Антонович Лихачев. Пустые рукава гимнастерки аккуратно заправлены за ремень. Побрили Лихачева в спешке неудачно, и лицо его заклеено вместо пластиря квадратиками газетной бумаги и густо, до синевы запудрено.

— Здравствуйте! — громко и вызывающе произносит Муська, произносит так, словно всех здесь собравшихся она видит впервые.— Здравствуйте, товарищи!..

Вера Смирнова, растерявшись, сует ей в руки букет полевых цветов.

— Вот... Поздравляем, Тамара Григорьевна!

Медленно, гордо вскинув кудрявшую голову и чуть напряженно улыбаясь, Муська, сквозь примолкший строй провожающих проходит с Лихачевым по двору.

— Да-а! — вздыхает Суздалев, глядя им вслед. — Трудно ей будет!..

— И все равно, все равно счастливая! — тихо, с непонятной горечью отвечает Наталья Михайловна.

Суздалев удивленно смотрит на нее.

Муська сажает Лихачева в машину, садится сама.

Дронов — он явно собирался сказать речь, но в последнюю минуту почему-то раздумал — пожимает руку Муське, машинально протягивает руку Лихачеву и, тут же отдернув ее и смешавшись, растерянно бормочет:

— Ну, час добрый!.. Смотрите, чтобы все у вас в порядочке было... Счастливо!..

Шофер заводит машину. Шумят провожающие.

И тогда Муська, пошептавшись о чем-то с Лихачевым, резко поднимается.

— Подождите!

Огромным усилием воли сдерживая слезы, глядя поверх голов провожающих, звонким не своим голосом Муська говорит:

— Товарищи раненые и товарищи медперсонал! Особо — товарищ комиссар и товарищ главный врач! От имени гвардии сержанта товарища Лихачева Андрея Антоновича,

сапера, героя войны выражаю вам благодарность!..

Подумав, она добавляет:

— Желаем вам всем победы!.. А также вольнонаемной Ивашовой Светлане!..

Машина трогается с места.

Взлетают пилотки, косынки, платки.

Горько плачет Муська, уткнувшись лицом в плечо Лихачева.

Девушки — Вера, Тоня, Светлана — бегут рядом с машиной, что-то кричат.

— Вот как бывает на войне! — говорит Наталья Михайловна Суздалеву. — Сначала смеются. А потом плачут.

— И наоборот! — говорит Суздалев.

— И наоборот! — соглашается Наталья Михайловна.

С дороги доносится прощальный гудок, и машина, увозящая Лихачева и Муську, скрывается за поворотом.

Ночь.

В первой палате, в зрительном зале, тишина.

Раненые спят.

Слабо светится на маленьком столике в углу синий огонек дежурной лампы. Разрушенная в недавние дни обороны наружная стена затянута брезентовым полотнищем и театральным задником с маками и подсолнухами.

С дороги доносится ровный, незатихающий гул — это сплошным потоком движутся к фронту орудия и машины и время от времени

по стенам и потолку проплывают радужные блики от включенных на мгновение фар.

Светлана медленно идет по рядам между койками, останавливается у самой сцены, у крайнего — во двор — окна, возле койки, на которой лежит Суздалев.

Суздалев не спит.

Он лежит с открытыми глазами и смотрит на Светлану.

— Вы почему не спите, Вячеслав Павлович? — шепотом спрашивает Светлана.

— Не спится.

— Снотворное дать?

— Не надо. Лучше посидите со мной!..

— Не полагается! — говорит Светлана и садится.

По шоссе, громыхая, проходят тяжелые танки.

Светлана и Суздалев прислушиваются.

— Ух, силища! — шепчет Суздалев и яростно сминает подушку. — А я лежу! — Он смотрит на часы, встряхивает их, прикладывает к уху. — Черт, остановились, что ли? Сколько на ваших, Светлана?

— Двадцать минут первого.

— Нет, идут.

— Скажите, Вячеслав Павлович, — спрашивает, помолчав, Светлана, — а какой он?

Суздалев, вскинув глаза на Светлану, на-
смешливо улыбается.

— Замечательный!

Но Светлана, не принимая насмешки, серьезно кивает головой.

— Да. Он замечательный.

— Единственный! — продолжает поддразнивать Суздалев.

— Да. Единственный.

— И незаменимый.

Светлана пожимает плечами.

— А разве есть заменимые? Нет, Вячеслав Павлович! И, знаете, я как-то особенно ясно поняла это здесь, на войне. Именно здесь, где один падает, а другой немедленно занимает его место... Занимает его место, но не заменяет его! Да разве может повторяться... Разве могут быть еще у кого-нибудь такие же глаза, и такие же руки, и такой же голос?!

В зал фойе неслышно входит Наталья Михайловна, останавливается в дверях.

Суздалев и Светлана не замечают ее.

Суздалев пристально, не мигая, смотрит на Светлану, тихо повторяет:

— Разве могут быть еще у кого-нибудь такие же глаза, и такие же руки, и такой же голос?!

— Сестра! — громким шепотом окликает Светлану Наталья Михайловна. — Зайдите ко мне. Я в дежурке!

Светлана вскакивает.

Наталья Михайловна поворачивается и уходит.

Светлана прижимает ладони к вспыхнувшему лицу.

— Попадет? — интересуется Суздалев.

— Ох, наверное!

— Кстати, Светланочка, вы не знаете, — небрежно спрашивает Суздалев, — кто у нее муж?

— Не знаю. Знаю только, что он чуть не каждый день пишет ей письма, а она их обратно отсылает!

Суздалев задумчиво улыбается.

— Похоже на нее! Она и девчонкой, в школе еще, была такая — строптивая!.. Мы в параллельных классах учились!

За окном громко трижды гудит машина, вспыхивает и гаснет свет фар.

Суздалев взорванно приподнимается.

— Ну вот... до свидания, Светлана!

— Вы лежите, лежите, Вячеслав Павлович, сейчас я вернусь!..

— Все равно до свидания! — медленно говорит Суздалев и старым знакомым жестом вскидывает к плечу руку, сжатую в кулак. — До свидания, Светлана, до новой встречи!.. И пожелайте от меня Наталье Михайловне спокойной ночи!

В дежурке неярко горит керосинная лампа. Наталья Михайловна сидит за столом и что-то сосредоточенно пишет, бормочет, с громким стуком макает ручку в чернильницу.

Монотонно и усыпляюще тикает пузатый без ножек будильник, привязанный бинтом к ручке несгораемого сейфа.

Наталья Михайловна ставит наконец жирную точку, еще раз проглядывает написанное, отодвигает бумаги в сторону, поднимает голову и неожиданно вполне мирно улыбается Светлане.

— Что в палате?

— Все спокойно, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна выходит из-за стола, внимательно прислушивается к монотонному тиканию будильника, делает несколько шагов по комнате, останавливается.

— А что капитан? Жаловался вам, наверное, что я его на фронт не пускаю?

— Нет, он не жаловался. Он даже просил вам передать спокойной夜里!

Наталья Михайловна долго молчит, снова делает по комнате несколько шагов, подходит к окну, отогнув светомаскировочную штору, вглядывается в ночную темень и, не оборачиваясь, резко и решительно говорит:

— Ну хорошо! Можете идти, сестра! И передайте капитану... Нет, впрочем, ничего не нужно передавать!

Светлана возвращается в зал, на секунду задержавшись в дверях, быстро проходит к сцене, останавливается у койки Суздалева.

— Вот и я, Вячеслав Павлович!

Тишина.

Койка Суздалева пуста. Взбиты подушки. Ровно застелено одеяло. Светлана, диковато оглядевшись, мчится через весь зал назад, пробегает полутемное фойе, влетает в дежурку, но и там тоже никого нет.

Со двора из открытого окна доносятся неизвестные негромкие голоса.

Светлана выбегает на крыльцо.

— Наталья Михайловна!

— Да?! — раздается из темноты.

Светлана, перемахнув через ступеньки, бежит к палатке, возле которой смутно белеют

шапочка и халат Натальи Михайловны. И только уже подбежав к старой березе, Светлана замечает, что Наталья Михайловна не одна.

Рядом с ней стоит незнакомая крупная простоволосая женщина и два маленьких ху-
в руках курицу. Они, видимо, приехали изда-
лека. У всех троих за плечами рюкзаки, а у
ног женщины, на земле, лежит большущий,
того стянутый веревками, узел.

— В чем дело, сестра? — строго спраши-
вает Наталья Михайловна.

Светлана, глотая от волнения слова, при-
нимается сбивчиво объяснять:

— Вы понимаете, товарищ главврач, капи-
тан Суздалев...

— Сбежал?! — даже не дослушав, вскри-
кивает Наталья Михайловна.

— Кажется... он...

— Я так и знала! — снова перебивает Наталья Михайловна и усмехается. — Я так и знала! Вот что за машина гудела! Ах, чудак! Да ведь я бы завтра все равно выписала его... Разве его удержишь?! Ну что за чудак?!

— Когда бегут вперед, это прекрасно! —
басит незнакомая женщина.

Наталья Михайловна, обернувшись к
приезжим, говорит:

— Да, вот это и есть та самая Ивашова,
о которой вы спрашивали!

— А-а, Ивашова, очень приятно! — улы-
бается женщина и протягивает Светлане ру-
ку. — Здравствуйте, товарищ Ивашова!

— Здравствуйте!

— Мы нынче в облисполкоме были. Встре-
тили там некоего товарища Лаврентьева...

Светлана сердито морщит нос.

— Лаврентьева?! Слушайте, когда он на-
конец за сейфом пришлет?

— А он сказал, что теперь тут скоро
опять откроют сберкассу и почту. И что, если
вы живы и сейф цел, то забирать его нет ни-
какого смысла. И еще он велел, если вы опять-
таки живы, передать вам привет.

— Спасибо! — все так же сердито говорит
Светлана и, поглядев на стоящих в стороне
невозмутимо молчаливых мальчиков, спраши-
вает: — А вы, собственно, к кому приехали?

Женщина смеется.

— А мы, собственно, к себе приехали. До-
мой. Епифанцева моя фамилия. Зоя Павлов-
на Епифанцева. А это сыны мои, близнецы,
Павлик и Мишка...

Распахивается дверь в доме.

На крыльце выходит Дронов, щурится,
вглядываясь в темноту.

— Кто тут есть? Свои?

— Свои! — отзыается Наталья Михай-
ловна.

Дронов, узнав Наталью Михайловну по
голосу, кивает головой, спускается вниз, го-
ворит на ходу гулко и радостно:

— Друзья мои, собирайтесь, опять нам
в путь-дорогу приказ!

— Куда?

Дронов, помолчав, машет рукой.

— Туда — вперед!..

Диктор по радио говорит:

— Вчера, девятого сентября, на энском направлении наши войска, продолжая успешно развивать наступление, прорвали по всему фронту глубоко эшелонированную оборону противника...

Нескончаемым потоком, огибая дом «На семи ветрах», с песнями и грохотом, на машинах и пешком днем и ночью движутся по шоссе войска.

Светлана стоит у крыльца, скрестив на груди руки и с волнением и любопытством смотрит на дорогу. Рядом, наподобие верных оруженосцев, стоят молчаливые братья Епифанцевы — Павлик и Мишка.

Во дворе на веревке сохнет выстиранное белье, весело бродит курица с цыплятами и какой-то старик без шапки и в валенках колет, покряхтывая, дрова.

Открытая черная машина, ехавшая навстречу общему потоку — от фронта к городу, скрипнув тормозами, останавливается неподалеку от Светланы и мальчиков.

Сидящий впереди рядом с шофером человек в штатском, с загорелым лицом и прозрачными, будто выцветшими шалыми глазами, привстав, очень радостно кивает Светлане седой головой.

— Здравствуйте, здравствуйте, красавица!

— Здравствуйте, — не слишком любезно отвечает Светлана.

Седой человек смеется.

— Не узнаете?! Жаль! А ведь я даже загадал: если случится чудо и я, когда буду

проезжать мимо вашего дома, встречу вас — значит, все будет хорошо! Вы тут оставались? Как вы уцелели?

Светлана пожимает плечами.

— А почему я должна была пропасть?

Эти простые слова приводят почему-то седого человека в неописуемый восторг.

— Грандиозно! — восклицает он и толкает плечом невозмутимого шофера. — А?! Вы слышите, Коля?! А почему она и в самом-то деле должна была тут пропасть?! Грандиозно!

Он встряхивает головой.

— И даже надпись осталась «Добро пожаловать!» Прекрасно! Я обещаю вам, красавица, всюду, где только возможно, мы поснимаем надписи «Посторонним вход воспрещен» и заменим их на «Добро пожаловать!»

Светлана, просияв, протягивает обе руки:

— Ой, здравствуйте! Вот теперь я вас узнала!

Седой человек щурит шалые глаза.

— И вы вспоминали обо мне в тот вечер?

— В двадцать ноль-ноль? — улыбается Светлана. — Да, конечно.

Оглянувшись на шофера, седой человек через борт машины наклоняется к Светлане.

— Могу вам сказать по секрету: скоро, очень скоро вы снова вспомните обо мне!

Он откидывается на спинку сиденья.

— Прощайте, красавица!.. Поехали, Коля!

— Когда? — кричит вдогонку Светлана.

— Скоро! — слышится уже издалека. — Скоро, красавица!..

Тенью по земле проплывают в небо строем бомбардировщики.

— Яки? — спрашивает Павлик.

— Яки! — подтверждает Мишка.

Движется от города к фронту бесконечный поток автомашин, бронетранспортеров, танков, самоходок, грузовиков.

Весело, с посвистом, поют солдаты:

— Там девица гуляла,
Цвет калины ломала,
Чубарики-чубчики ломала!..

По краю дороги, лязгая и грохоча, проходит колонна танков.

— Светлана Андреевна!..

Светлана в недоумении озирается.

Голос, заглушенный ворчанием моторов и грохотом гусениц, доносится откуда-то с дороги.

— Светлана Андреевна!

— Как много у вас знакомых — почтительно замечает Павлик.

— Очень много! — подтверждает Мишка.

Колонна танков проходит, и теперь становится видно, как из разбитой и залатанной «эмки», остановившейся на самой середине дороги, машет Светлане чья-то рука.

— Светлана Андреевна!..

Дверца машины открывается, и навстречу подбежавшей Светлане вылезает на дорогу редактор газеты «Вперед» Вольдемар Янович Петерсон.

— Товарищ полковник!

— Здравствуйте, Светлана Андреевна! — медленно говорит Петерсон и, сняв фуражку, чопорно и почтительно целует Светлане руку. — Здравствуйте, голубчик!

Они стоят возле «эмки» на дороге.

— Вы совсем, ну просто совсем не изменились! — говорит Петерсон, разглядывая Светлану. — Разве что волосы отросли, да глаза стали строже...

Светлана качает головой.

— Ох, Вольдемар Янович! А мне порой кажется, что я на тысячу лет постарела!

— Нет, вы не изменились! — упрямо говорит Петерсон. — Я вообще, знаете ли, не верю, что люди меняются. Да, конечно, человек может многому научиться. И в человеке может вдруг открыться такое, о чем он и сам никогда не подозревал, особенно на войне. Но ни героем, ни подлецом не становятся! Человек или герой, или подлец!..

С проезжающего мимо грузовика орут под баян озорные голоса:

— Поедем, красотка, кататься!

— Я тридцатьчетверку люблю!..

Шофер «эмки», приоткрыв дверцу машины, демонстративно и недвусмысленно очень громко и часто зевает.

— Недели три назад, — говорит Петерсон, — заезжал к нам в редакцию лейтенант... не помню фамилии... лейтенант-разведчик. Он спрашивал вас, Светлана Андреевна, и оставил у Долли Максимовны для вас письмо...

— Ну? — с замиранием сердца спрашивает

Светлана и даже приподнимается на носки. — А где же оно? Где Долли Максимовна? Где редакция?

Петерсон, как-то странно сморщившись, тихо и отрывисто говорит:

— Я уезжал в штаб армии... вечером... А на город был налет... Тяжелая фугаска угодила в дом, где помещалась редакция... Прямое попадание... Погибли все... Все, кроме тех, кто был на задании,— Суздалева, Киселева... Все остальные погибли... А я сидел в штаб-армии и пил чай. На войне почему-то смерть щадит стариков!

— Нет! — кривит губы и трясет головой Светлана.— Нет! Нет!

— Долли Максимовна так и не узнала, что ее муж и сын живы... Вчера ей пришло наконец от них письмо...— говорит Петерсон.— Не плачьте, Светлана Андреевна...— просит он и плачет сам.

Останавливаются несколько машин. Люди с изумлением смотрят на эту странную плачущую пару — сухонького пожилого полковника и невысокую, в штатском, девушку с боевым орденом на груди...

Встревоженно переговариваются, почесывая босые ноги, Светланины оруженосцы, близнецы Павлик и Мишка.

— Наверное, он ее за что-нибудь ругает, — высказывает предположение Мишка.

— Наверное, — соглашается Павлик.

На шоссе образуется «пробка». Гудят, гудят, кричат и ругаются шоферы, какой-то молоденький лейтенант, размахивая револьве-

ром, мечется между машинами и бессмысленно выкрикивает одно-единственное слово:

— Немедленно! Немедленно!..

— Поедемте со мной, Светлана Андреевна! — просит Петерсон. — Мне очень нужны люди. Мы все-таки будем выпускать газету «Вперед» для армии, которая узнала, что это значит! Поедемте со мной!

— Я не могу, Вольдемар Янович! — глотая слезы, говорит Светлана. — Я должна ждать... Я обещала... Я напишу вам, я вам обязательно напишу... И может быть, потом... Я не знаю... Но сейчас я не могу с вами поехать!

Тишина. Поздний вечер.

Комната Игоря. Дыра в потолке уже заделана, в разбитое окно вставлена новая рама, но стекол еще нет, и теплый легкий ветер колеблет пламя стоящей на столе фронтовой коптилки.

Громко тикают часы-будильник.

Светлана лежит ничком на кровати, уткнувшись лицом в подушку, плачет.

Епифанцева большими шагами ходит по комнате.

— Эх вы! — говорит она. — А я-то вас всем в пример ставила! И сыном моим, и Розанову — старику, и Владимирским — всем! Вот говорила я им, учитесь, как надо любить и верить! А вы...

— Я устала! — тонким жалобным голосом говорит Светлана. — Как-то вдруг, сразу, в одну минуту. Он не пишет и не пишет. И от мамы с папой ничего нет. И от бабушки. А я

устала. Ну, почему, он не пишет?! И я ничего про него не знаю — где он, что с ним, какая беда у него приключилась...

— Какая беда? — удивляется Епифанцева.

— Еще давно... еще до войны...

Епифанцева, подумав, машет рукой.

— А-а-а, что-то я припоминаю... краем уха слышала... Ну, только какая же это беда?! Диплом у него на год хотели отложить! Серьезно, не правда ли?!

Тикают часы. Десять часов. Двадцать два ноль-ноль.

Медленно, помаргивая, загорается лампочка в настольной лампе.

Это так неожиданно и невероятно, что Светлана вскакивает, а Епифанцева, прижимая руки к груди, садится.

— Боже мой!

Лампочка гаснет.

Тишина. Тикают часы.

— Может, нам показалось? — шепчет Светлана.

Лампочка загорается.

И в ту же секунду в коридоре раздаются звонки — три коротких и длинный, три коротких и длинный.

— Кто это? — кричит Светлана.

— Это мальчишки, должно быть... балуются!

Громкий топот, восторженные вопли, стук в дверь.

— Ах, мальчишки!

— Да?

Брыкаются Павлик и Мишка.

— Свет! Свет! Видите — свет!

— Это вы звонили, мальчики? — тревожно спрашивает Светлана.

Павлик и Мишка даже не успевают ответить.

Снова, громче и настойчивее, раздаются звонки — три коротких и длинный, три коротких и длинный.

Светлана выбегает в коридор.

Распахиваются двери в комнаты, полоски света падают на пол, и по этим полоскам, как по ступенькам лестницы, бежит Светлана бежит, становясь на бегу красавицей, раскрывает входную дверь и, вскрикнув, как птица, вскинув тонкие руки падает в объятия какого-то высокого человека в армейской шинели.

Ночь.

Непрерывным потоком движутся к фронту машины. Где-то очень далеко вспыхивают и гаснут лучи прожекторов.

Тишина в доме «На семи ветрах».

Только светится одно окно на втором этаже. Но вот и это окно гаснет.

Тишина.

Проходит несколько мгновений, скрипит в проржавленных петлях дверь и на крыльце в чужой накинутой на плечи шинели медленно выходит Светлана.

Она стоит на крыльце, скрестив на груди руки, полузакрыв глаза, счастливо улыбается, и ветер треплет ее волосы, радужные блики

фар проплывают по ее лицу, ночные звуки и
шорохи окружают ее.

— Светлана! — зовет ее незнакомый голос
из темного окна. — Спасибо тебе, Светлана!
Светлана стоит, слушает, улыбается.

Может быть, это просто эхо, а может быть,
и в самом деле, уже не один, а десятки голо-
сов, знакомых и незнакомых, говорят ей:

— Спасибо, дочка!

— Спасибо, мамаша!

— Спасибо, сестрица!

— Спасибо, тебе, Светлана! Как хорошо,
что ты дождалась меня!..

Александр Аркадьевич Галич родился в 1918 году
в Днепропетровске. В 1920 году его семья переехала в
Москву.

В школьные годы, увлекаясь поэзией, он начинает
заниматься в литературном кружке, которым руководит
Эдуард Багрицкий, и печатает свои стихотворения в га-
зете «Пионерская правда».

После окончания школы А. Галич поступает в сту-
дию имени К. С. Станиславского.

В 1939 году он участвует в создании пьесы А. Ар-
бузова «Город на заре» и постановке ее в Московской
театральной студии. Там же ставится написанная
А. Галичем в соавторстве с И. Кузнецовым и Э. Баг-
рицким пьеса «Дуэль».

Во время Великой Отечественной войны А. Галич —
один из руководителей и участников фронтового ком-
сомольского театра.

В 1948 году вместе с К. Исаевым он написал ко-
медию-водевиль «Вас вызывает Таймыр», поставленную
многими театрами Советского Союза и стран народной
демократии, а в 1956 году — лондонским рабочим теат-
ром «Юнити».

Им написаны также пьесы «Походный марш» (1956)
и «Матросская тишина».

А. Галич известен и как кинодраматург. В 1954 году
по его сценарию режиссер М. Калатозов поставил фильм
«Верные друзья», получивший на VIII Международном
кинофестивале первую премию.

Его перу также принадлежит сценарий фильма
«Трижды воскресший».

А. Галич является автором ряда популярных пе-
сен: «До свиданья, мама», «Ой ты, северное море»
и других,

Станислав Иосифович Ростоцкий родился в 1922 году в городе Рыбинске. В 1925 году с семьей переехал в Москву.

Во время учебы в школе занимался в киностудии Дома пионеров и снимался в кино. В шестнадцать лет написал сценарий и с этого же времени начал готовиться к профессии кинорежиссера под руководством Сергея Михайловича Эйзенштейна, с которым был связан до последних дней его жизни.

Закончив школу в 1940 году, готовился к поступлению во ВГИК и учился в ИФЛИ. Во время Великой Отечественной войны был гвардии рядовым. Награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями.

В 1944 году тяжело ранен и демобилизован. Сразу же по выходе из госпиталя поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Г. М. Козинцева.

Во время учебы в институте работал на картинах Г. М. Козинцева «Пирогов» и «Белинский» как режиссер-практикант.

В 1952 году закончил ВГИК. Режиссер-постановщик фильмов «Земля и люди», «Дело было в Пенькове», «Майские звезды», «На семи ветрах». Автор сценария по повести С. Антонова «Дело было в Пенькове».

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Фильм по сценарию А. Галича и С. Ростоцкого «На семи ветрах» поставлен на киностудии имени М. Горького в 1962 году. Фильм черно-белый, 10 частей, 2905 м.

Режиссер — С. Ростоцкий, оператор — В. Шумский, композитор — К. Молчанов. Текст песен А. Галича. Художник — С. Серебренников. Звукооператор — Н. Озорнов.

В роли Светланы — Лариса Лужина.

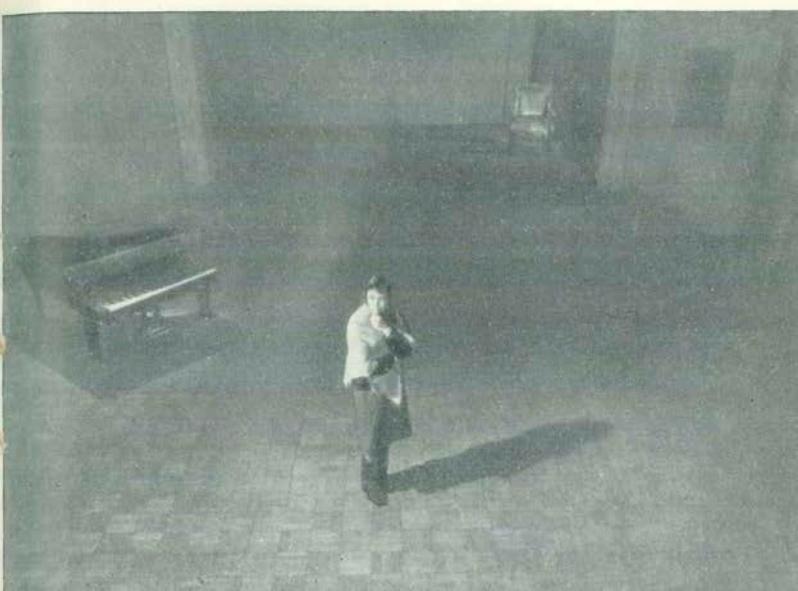
В остальных ролях: С. Пилявская, М. Струнова, Л. Савченко, К. Лучко, С. Дружинина, Л. Чурсина, В. Тихонов, Л. Быков, М. Трояновский, В. Невинный, В. Печников, В. Заманский, А. Ромашин, А. Игнатьев, Б. Батаев, В. Павлов, В. Денисов.

КАДРЫ
ИЗ ФИЛЬМА









*Александр Аркадьевич Галич
Станислав Иосифович Ростоцкий*
НА СЕМИ ВЕТРАХ

Редактор Н. Г. Зеличенко
Оформление художника Н. И. Калинина
Художественный редактор Г. К. Александров
Технический редактор Э. Н. Малек
Корректор Н. Г. Шаханова

Сдано в набор 3/VIII 1962 г.

Подп. к печ. 5/X 1962 г.

Форм. бум. 70×90^{1/32}. Печ. л. 5,25 (условн. 6,14).
Уч.-изд. л. 5,81. Тираж 13 000 экз. А07517

Изд. № 15423. Заказ № 582

«Искусство», Москва И-51, Цветной бульвар, 25
Московская типография № 8
Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Цена 32 коп.

Цена 32 коп.

